

ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ

Спутные времена

ВЛАДИВОСТОК 1918-1919 гг.





Photo: Roger Perry © Gallimard

Жозеф Кессель
СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
Владивосток 1918-1919 гг.

Joseph Kessel
de l'Académie Française
Les Temps Sauvages
Gallimard

Жозеф Кессель

Смутные
времена

ВЛАДИВОСТОК 1918–1919 гг.

РОСЕМ

Владивосток
2012

УДК 82-311.6=03(02)
ББК 84(4)
К 367

af

ALLIANCE FRANÇAISE de Vladivostok

INSTITUT
FRANÇAIS

Programme
Asie-Pacifique

*Издание осуществлено в рамках Программ содействия
издательскому делу при поддержке Французского института*

Кессель, Ж.

Смутные времена. Владивосток 1918-1919 гг. Роман (Серия «Библиотека альманаха "Рубеж"»). - Владивосток: Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2012. - 144 с.

В октябре 1918 года к французским летчикам обращаются с призывом записаться добровольцами во Французский экспедиционный корпус. Двадцатилетний Жозеф Кессель, младший лейтенант, поднимается на борт корабля в Бресте. Владивосток — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, наводящие на всех ужас. Однажды ночью, в кабаре «Аквариум», юный Жозеф встречает Лену, певицу, хрупкую и печальную. Так начинается история любви, странная и мучительная, совпавшая с крахом старого мира.

Перевод с французского: *Наталья Сакун*

Фотографии, опубликованные в книге, предоставлены Агентством коммуникации и визуальной продукции Министерства Обороны Франции.

«Альянс Франсез-Владивосток» выражает искреннюю благодарность Паскалю Мартен-Даге за поддержку в издании книги.

ISBN 978-5-85538-070-5 © Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2012

Жозеф Кессель - признанный классик французской литературы XX столетия, кавалер ордена Почетного легиона, член Французской Академии. Будущий писатель родился 10 февраля 1898 года в Аргентине, куда его отец, выходец из России, переехал после учебы во Франции. По возвращении семьи в Париж Кессель поступил на филологический факультет, с 1915 года публиковал очерки во французских журналах. Некоторое время он работал в «Журналь де Деба», самой уважаемой газете Парижа, с которой сотрудничали многие выдающиеся французские мыслители и писатели.

Жозеф Кессель не раз оказывался в центре самых интересных событий своего времени. Добровольцем он поступил во французскую военную авиацию и в составе эскадрильи 539 участвовал в Первой мировой войне. Все увиденное находило отражение в его творчестве. Известность Кесселю принёс роман о

пионерах авиации «Экипаж» (1923). Роман «Дневная красавица» (1928) обрел вторую жизнь благодаря экранизации Луиса Бунюэля, исполнение главной роли в которой принесло французской актрисе Катрин Денёв мировую славу. Кессель много писал о России, на страницах романа «Княжеские ночи» (1927) он создал литературный архетип русского эмигранта.

11 ноября 1918 года в составе Французского экспедиционного корпуса Жозеф Кессель оказался во Владивостоке. Здесь он познал первую любовь, боль разлуки и разочарования и ни с чем не сравнимую радость возвращения на родину своих предков. Воспоминания о Владивостоке в эпоху революции легли в основу романа «Смутные времена» (1975).

После Второй мировой войны, которую он начал как сапер и закончил как летчик движения «Свободной Франции», Жозеф Кессель вернулся к литературе и журналистике.

В 1962 году Кессель был избран во Французскую академию, один из наиболее авторитетных во Франции общественных институтов, основанный в 1635 г. Людовиком XIII и кардиналом Ришелье. Умер Жозеф Кессель в городке Аверн близ Парижа 23 июля 1979 года.

В разное время на русский язык переведены «Княжеские ночи» (1927), «Дневная красавица» (1928), «Всадники» (1967), «Лев» (1958).

Издание романа «Смутные времена» осуществлено при поддержке «Альянс Франсез - Владивосток».

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Все началось в 1918 году. В первых числах октября. Вот уже два месяца, как в войне наступил перелом. Наконец-то после четырех лет жизни в землянках, пропитанных кровью погибших, враг сдался, наконец-то он был сломлен. Оставив окопы, шли миллионы мужчин, грязные, обросшие. Одни — немцы — отступали все дальше и дальше. Другие постоянно преследовали их. Наша эскадрилья опережала всех, перемещаясь с одного импровизированного аэродрома на другой. Так мы оказались поблизости от Сент-Менехульда.

Полетов совершали мы много. Определяли местонахождение, вели разведку и пристрелку, поддерживали с воздуха пехоту, бомбили, сражались, искали пропавших товарищей.

В это утро, очень рано, наблюдатели и пилоты собрались вместе, как было заведено, в бараке, где находилась офицерская столовая. У многих с собой было обмундирование для полетов. Снаружи было слышно, как

механики запускали моторы и раскручивали винты самолетов. Все было готово для выполнения задания. Редкий осенний туман, предвещающий чудесную погоду, постепенно рассеивался. Несколько минут спустя, первые, кому предстояло отправиться на задание, уже садились в кабины самолетов.

В этот момент появился наш капитан, изящный, опрятный, оживленный. Он был затянут в черную униформу артиллериста, заношенную до блеска, рядом с ним бежал его рыжий спаниель. Капитан потряс какой-то бумагой.

— Приказ Генерального штаба, — сказал он. — Последний.

Он прочел циркуляр. Союзники формировали новую армию. Где-то в Сибири. В нее должны были войти французские, английские, американские, канадские, чешские и польские части. Цель этой армии — остановить немецкие войска между Уралом и Волгой. Французские части должна сопровождать ближняя разведывательная авиация. Осталось только найти добровольцев. Командующим авиационными частями было предписано сообщить об этом.

Капитан закончил читать. Сначала воцарилось гробовое молчание. Мои товарищи, казалось, или не сразу поняли то, что им пришлось услышать, или же просто не верили своим ушам.

И вдруг все разом заговорили. Сибирь! Сибирь, зима... каторжные! Тысячи и тысячи километров каторги. Немцы — там? Какие там могут быть немцы?! Откуда? Со всем, что там творилось! Когда тут в любой момент все могло закончиться... И вдруг Сибирь!

Так рассуждали мои товарищи по полетам, покеру и выпивке. У нас даже рефлексy стали общими. Но сейчас я был далек от них, я находился от них на таком расстоянии, которое вряд ли можно было измерить.

В их представлении Сибирь была проклятой богом ледяной пустыней, а само путешествие виделось им как нескончаемая операция, нелепая затея. А я... Я, словно в тумане, пересекал незнакомые мне континенты и океаны. Чем длиннее был предстоящий путь, тем больше открытий он готовил. А в самом конце, на краю света, бескрайние заснеженные степи, огромные реки, непроходимые леса, племена, все еще живущие в каменном веке, и, конечно, казаки с берегов Байкала и Амура. А еще песни каторжников.

Мои русские корни, знание языка, сказки и книги моего детства, народные песни, прекраснее которых ничего на свете нет, — все это пробудило во мне освещенную звездами мечту. Я осознал это несколько позже, а в тот момент мне было не до размышлений. Я грезил наяву.

К реальности меня вернул чей-то спокойный голос. Между двумя затяжками трубки обу́тый в сабо широкоплечий лейтенант с уже

наметившимся животиком и ярким румянцем на щеках — он руководил в эскадрилье офицерами-наблюдателями и летал в одном экипаже с капитаном — обращаясь к капитану, он произнес:

—Как ты, наверное, заметил, безумцев среди нас нет.

—Так я и знал, — ответил капитан.

А потом, подняв глаза к безоблачному небу, он сказал:

— А теперь приступим к более важным делам.

Все бросились к самолетам, уже раскатисто редевшим под вращающимися винтами. Капитан тоже отправлялся на задание, но, как обычно, самым последним. Он любил наблюдать, как самолеты один за другим поднимаются в воздух.

Я сделал вид, что проверяю свой шлем и планшеты с картами. Затем нагнал его на пороге барака и попросил записать меня добровольцем в Сибирь.

На его лице сначала промелькнуло недоверие, почти мгновенно сменившееся болью и страданием. Мне стало плохо. Я знал, что говорил мне его взгляд: «Ты нас бросишь? Ты? Как такое возможно? Ты, прибывший к нам восемнадцатилетним курсантом, только-только окончившим школу, где ты так ничему и не научился... Ведь это я первым ввел тебя в бой, я объяснял тебе, что такое полоса обороны, я обучал тебя пристрелке, разным военным хитростям, песням и фарандоле, я включал тебя в приказы об объявлении благодарности, награждал тебя. А ты, ты хочешь нас оставить!»

Мы — это его эскадрилья. Он любил ее (нас) больше всего на свете. Да я и сам тоже. Больше в моей жизни такого не было, эскадрилья была моей семьей, моей бандой, она заменила мне родителей во время войны, она была моей Вселенной. А капитан был душой, сердцем и жизненным центром этой Вселенной. Для всех он был командиром, которому повиновались с радостью. Каждому из нас он был верным другом, веселым товарищем и лучшим советчиком. Ему было всего двадцать четыре года. Из них больше трех лет, начиная с 1915 года, он служил в авиации. Наблюдатель, пилот, командир эскадрильи. Восемь раз его самолет сбивали, пять раз он был ранен. Счастьем было услышать похвалу из его уст. А выговор, даже незначительный, приводил меня в отчаяние.

Чтобы понять и осознать те чувства, что он мне внушал, нужно в двадцать лет оказаться в горниле войны, но при этом иметь непреодолимое желание восхищаться кем-то и любить, и, конечно же, рядом должен быть такой капитан.

«Ты бросаешь нас!» — кричали глаза капитана. Я бы вынес все, что угодно, все, лишь бы избавить его от этой боли. Я не мог произнести ни слова, но без колебаний я кивнул головой, чтобы подтвердить мою просьбу.

Мне нужна была и эта экспедиция, и эти бескрайние просторы, мне нужна была Сибирь.

Мы обменялись с капитаном долгим взглядом, пожали друг другу руку. Это много значило для капитана, но еще больше это значило для меня. Он похлопал меня по плечу и сказал:

— Да будет так, мой друг. Удачи тебе.

Самолеты пролетали над баракom и взмывали высоко в небо. Я направился к моему самолету. Капитану пришлось крикнуть, чтобы я услышал его слова:

— Будьте внимательны. В зоне обстрела появилась группа немецких истребителей. Весьма агрессивных. Будет глупо, если вас собьют во время вашего последнего задания здесь.

После этого, как и следовало ожидать, начались формальности, бумажная волокита... Миссия в Сибири зависела от многочисленных служб, разбросанных по разным областям. Запись. Назначение. Денежное довольствие. Медицинский осмотр. Транспортировка. Штемпели. Печати. А поскольку миссия существовала пока только на бумаге, повсюду царили неведение и неразбериха.

В этой суматохе я познакомился почти со всеми добровольцами, которым предстояло стать моими спутниками в путешествии. Короткие и ничего не значащие встречи. Они просто проходили мимо. Всех заботило только одно: как уладить личные проблемы до отправки в путь.

Но среди них был один, кого завтрашний день не особенно волновал. Лейтенант-наблюдатель. Невысокий, худой, мускулистый, он чем-то напоминал атлета. Светлые глаза, может быть, слишком светлые, в глубине которых, казалось, все время плясали искорки безумства. Он привлек мое внимание еще до того, как мы обменялись хотя бы словом, — я просто взглянул на него. И я сразу почувствовал, как между нами мгновенно возникло то бессознательное взаимопонимание, что с трудом поддается объяснению. Но когда он сказал, как его зовут, у меня перехватило дыхание. Потому что его имя, ставшее уже легендарным, передавалось из уст в уста, из эскадрильи в эскадрилью.

Чтобы понять почему, нужно иметь представление о двухместных самолетах для ближних разведывательных операций, на которых тогда

приходилось воевать. Две кабины под открытым небом. Два отверстия. В передней кабине — пилот. В задней — пассажир. Между ними два-три метра отполированного фюзеляжа, обдуваемого всеми ветрами. Никаких парашютов. Наблюдатель, таким образом, вдвойне подвергался риску. Он мог погибнуть сам. Или из-за пилота. Если пилот погибал, то наблюдатель разбивался в самолете, потерявшем управление и стремительно пикирующем вниз.

И вот однажды пилот моего нового друга во время воздушного боя был убит автоматной очередью, снесшей ему половину головы. Тогда он, наблюдатель, отстегнул ремни, отодвинул как можно дальше автомат, обхватил ногами ветровое стекло и под порывами ветра, хлеставшего его прямо в лицо, перебрался в переднюю кабину. Он забрался внутрь, все это ему удалось за какие-то считанные секунды, пока самолет еще удерживал шаткое равновесие.

Поскольку места для двоих в кабине не было, он уселся на колени своему погибшему товарищу, ухватился за штурвал и поднял самолет в воздух как раз в тот момент, когда тот уже входил в роковое пике. А потом самолет не без труда взмыл в воздух, чтобы разбиться где-нибудь уже за пределами линии фронта. Все это мой друг совершил, совершенно не умея управлять самолетом.

Подобное чудо отчасти можно объяснить тем, что бортовые приборы в то время были крайне просты, как и управление аппаратом. А сами самолеты, сделанные из ткани и дерева, были способны долго планировать даже при заглохшем моторе. Но, тем не менее, этот акробатический трюк с переходом из одной кабины в другую, переходом от жизни к смерти, а значит возвращение к жизни благодаря телу погибшего товарища с наполовину снесенным черепом, ставшему на время сиденьем, — надо, как сегодня говорят, надо постараться выполнить этот трюк.

И вот этого наблюдателя случай подарил мне в качестве компаньона.

Я верил в это с трудом, поэтому, запинаясь, задал ему вопрос. Он ответил мне сквозь зубы:

— Да... Это действительно я. Да. Но если ты хочешь (он сразу перешел со мной на ты), чтобы мы стали друзьями, никогда больше не спрашивай меня об этом случае... Ты понял? Никогда.

Так мы стали друзьями.

Все это произошло в Бордо, где находилась Военно-санитарная служба. Здесь все было приятным. Сам город, угощения, вино, девушки. Мы праздновали три дня. Деньги текли рекой. Казначей выдал нам жалованье и путевое довольствие. Зачем считать или экономить?

Иногда я думал о моих родителях — они ждали меня в Париже. Я был для них всем и прекрасно знал это. Они были моими все понимающими друзьями, друзьями самыми щедрыми и снисходительными, моими доверенными лицами, моей опорой и моим спасением. Я любил их больше всего на свете. Но себя я любил все-таки больше. Разве у меня не было на то полного права, повторял я себе, после стольких пережитых смертельных опасностей и перед лицом новых. Я совсем не хотел признаваться самому себе, что столь увлекательное приключение для них означало мое отсутствие на долгое время, за тысячи миль от них и невозможность регулярно получать от меня известия. Каждое мгновение, что я проводил с ними, для них было бесценным и необходимым. Я знал это, слишком хорошо знал, но отказывался допускать подобные мысли. Они приучили меня думать, что они меня понимают и страдают, молча наблюдая мои бесчинства и разгульный образ жизни.

Зато я все больше сомневался в возможности нашего путешествия. С каждым днем немецкая армия отступала все дальше. Невероятное, то есть безоговорочная победа, казалось вполне возможным, стоит только протянуть руку. Экспедиция в Сибирь уже не имела смысла, если вообще таковой у нее когда-либо был. Наша миссия умерла, так и не родившись.

Но по возвращении в Париж я обнаружил официальное письмо со штампом «срочно»: «Посадка в Бресте через две недели». Немного времени, чтобы закончить все начатое, довести до ума мое обмундирование. Однако прежде всего я хотел бы попрощаться с 39-й эскадрильей и моим капитаном.

На вокзале Сент-Менехульда, как я и просил в депеше, меня ожидала машина из эскадрильи.

Водитель, с которым у меня были очень хорошие отношения, почему-то не проявил ко мне ни малейшего дружелюбия. Да и лицо его, обычно выражавшее доброжелательность и жизнерадостность, казалось, принадлежало другому человеку. Замкнутое, жесткое, землистого цвета лицо. Он старательно избегал смотреть мне в глаза.

Еще ничего не поняв, я уже знал, что произошло нечто ужасное. Я заставил водителя говорить. И вот бесстрастно, беззвучным голосом, ни на минуту не отпуская руль, он все мне рассказал. Накануне, после полудня, капитан отправился на второе за день задание. Его атаковали четыре «Фоккера». Он, тем не менее, смог посадить самолет, изрешеченный пулями, не повредив шасси. Наблюдатель не пострадал. Капитана отвезли в походный госпиталь, он был в коме.

Водитель замолчал. А я — я не хотел, я не мог понять. Это не могло быть

правдой, это было невозможно. Капитан, нет, только не капитан. Он был неуязвим. Четыре года в авиации, четыре года сражений, Эпарж, Верден, Сомма. Он всегда выходил победителем. И еще его смех, служивший ему защитой от всего. Поскольку шофер хранил молчание, я спросил:

— И что потом?

Он мне не ответил.

Я нашел своего капитана, он лежал на носилках в полевом госпитале, в узкой комнатенке из досок серого цвета. На других носилках, поставленных прямо на землю, лежали другие трупы. Больше никого не было. Чтобы разбить и отбросить немцев как можно дальше, приходилось прилагать двойные усилия и немало рвения. На счету был каждый человек. Там, где-то высоко в небе, ревели моторы и раздавались пулеметные очереди.

Все мои бывшие товарищи сражались. Мне нечем было заняться. И мне поручили отправиться в город на поиски гроба для капитана. Да... Между песнями эскадрильи и приключением на краю света стоял этот гроб. Игра, знак, подсказка судьбы? Верить или не верить, что все это значит? Я часто видел особые знаки, они были повсюду, указывали на перемены, предвещали поворот в моей судьбе. И все.

Но удар был очень сильным. Ужасным. Первый в моей жизни. До сих пор все погибшие, которых мне пришлось увидеть, ничего не значили для меня. Никто из них не

был важной частью меня самого. А здесь, один, в этом подобии морга, склонившись над лицом моего капитана, неувредимый, но словно похолодевший внутри, я встретился лицом к лицу со Смертью.

И вот мы уже в Бресте. И я забыл и морг, и похороны. Мне все было интересно: этот незнакомый город, рейд, военные корабли, огромный отель, где нас расквартировали, — я никогда прежде не жил в подобном месте, — группы матросов на прогулке, встречи с Бобом, легендарным наблюдателем, с которым я познакомился в Бордо, и моим лучшим другом. Мне было всего двадцать лет. Я был непосредственен как ребенок. Все менялось, обстановка, погода и люди, и вот отчаяние сменялось восторгом, а печаль радостью.

Брест дарил мне это со щедростью. Но еще сюда добавились нетерпение и предвкушение отъезда. Здесь нужно было набраться терпения. На этот раз нам предстояло отправиться в путь на американских военных кораблях. А значит, нас ожидали Соединенные Штаты Америки.

Самый короткий путь по всей длине которого располагались знаменитые порты: Аден, Сингапур, Коломбо, Гонконг, лежал через Суэцкий канал. Не столь

важно. При такой перемене мы ничего не теряли. Америка, статуя Свободы, небоскребы (никто из нас еще не видел ни одного), ковбои, Калифорния, откуда открывался вид на весь Тихий океан... Только об этом мы и говорили. Мы словно стояли на краю старого континента, он перестал для нас существовать.

День первый, второй, третий... Объявлена посадка на «Президента Гранта». На следующий день мы уже поднялись на его борт... И уже ночью корабль отправился в путь. Все в порядке. Не совсем. «Президент Грант» встает на рейд. Но отправление теперь было лишь вопросом времени. Причин для волнения не было. Однако и Боб, и я — мы волновались. Поскольку, уже на исходе сил, немцы попросили перемирие. Шли переговоры об условиях его подписания. Вот-вот война могла закончиться, а вместе с ней, согласно самой элементарной логике, и наше приключение.

Спали мы плохо. Утром все солдаты, летчики и танкисты, держась за поручни, стояли на мостиках. Медленно рассеивался ноябрьский туман. Постепенно из тумана появлялись набережные, корабли, здания.

Вдруг со стороны города (издалека он казался столь тихим и спокойным) раздался звон колокола. Я посмотрел на Боба. Искры в его глазах уже потухли. Все стояли неподвижно. Все молчали. Прошло немало времени, прежде чем наконец кто-то сдавленным и дрожащим голосом произнес:

— Перемирие.

И в одночасье все заговорили, передавая новость из уст в уста, с мостика на мостик, крики радости и восторга разносились по всему кораблю. Послышались удары колокола. В минуты затишья мы могли слышать, несмотря на расстояние, как весь Брест наполнялся гулом толпы.

Толпа. Я услышал, как кто-то из моих товарищей недалеко от меня прошептал:

— По всей Франции... В каждом городе, каждой деревне...

И я ощутил, как в нем, в Бобе, во мне самом и в других поднимается страстное желание оказаться там, на земле, в обезумевшем городе, на улочках и площадях, рядом с людьми, которые распевали песни, кричали, смеялись и плакали от радости, какой им больше никогда не доведется испытать.

Это жестоко и несправедливо — быть исключенными, вычеркнутыми из чудесного праздника, праздника века, после того как мы пережили и совершили все, что мы могли совершить и вынести ради того, чтобы наконец ударили колокола.

В этот самый момент мы отреклись и отказались от этого путешествия.

Если бы это было возможно, мы бы бросились в воду, доплыли бы до набережной, до города, до людей. Главы нашей миссии сделали попытку поговорить с капитаном военно-морского флота США, командовавшим «Президентом Грантом». В ответ мы слышали, что он понимает наши чувства, но приказ есть приказ. Через час наш корабль отплывает.

Так 11 ноября 1918 года началось наше путешествие.

Путешествие бессмысленное, вовлекавшее нас в новую войну в тот день или, скорее, в ту самую минуту, когда война практически подошла к концу.

Спокойное море. Низкое небо. «Президент Грант» высадил в Бресте американских военных, назад они не возвращались. Если бы не мы, то в обратный путь корабль бы отправился порожняком. Мы были единственными пассажирами на борту: триста человек на корабле, способном перевезти целый полк. Мы чувствовали себя не очень уютно, как будто находились в огромном пустом доме. Особых развлечений не было. На борту все спиртные напитки были запрещены. Этот запрет не обладал силой закона в самих Соединенных Штатах, но на всех военных кораблях неукоснительно соблюдался сухой закон.

Время мы проводили, как могли. Мы изучили корабль от трюма и машинного отделения до вахтенных мостиков. Бродили туда-сюда по палубам. Самые смелые выполняли физические упражнения. Рассказывали друг другу о наших эскадрильях. Кто-то играл в карты, но без особого азарта, избегая серьезных неприятностей. Или вообще не делая ставок, или играя на столь незначительные суммы, что это нельзя было брать в расчет. Я обходил карточные столы стороной. Для меня игра имела значение только в том случае, если риск выходил за пределы разумного и превышал содержимое моего кошелька; когда фортуна поворачивалась ко мне лицом в результате удачного или неудачного хода и ничего не имело значения в мире, кроме как масть и цифра карты. Все эти спокойные, безобидные партии в экарте, пикет или манилью совсем не напоминали пари с удачей. А потом случилась эта ночь...

Наш переход близился к своему завершению. Наполненная скукой неделя тянулась бесконечно долго, было тепло, одна мысль об остановке в порту придавала нам сил и возбуждала. Даже те, кто без особого труда пережил нескончаемые тоскливые недели, не могли пережить еще несколько часов ожидания.

Что касается меня, нетерпение мешало мне поддерживать разговор, я просто не мог сидеть на одном месте. Сколько раз я бегал на корму корабля, всматриваясь в туманный горизонт: я словно пытался вызвать видение, что

преследовало меня с момента отправления, а теперь и вовсе ставшее навязчивой идеей. Нью-Йорк. Гигантская статуя Свободы. небоскребы Манхэттена. Их нам предстояло увидеть на рассвете. Между нами — целая вечность. Огромная статуя Свободы. Манхэттен.

Пришло время ужинать — последний ужин на борту. Мы все ужинали за одним большим столом. Во главе стола сидел капитан, шеф эскадрильи. Ему было около тридцати. Он был высокого роста, стройный, его одежда и манеры говорили о врожденной элегантности. Никто не знал, как он жил до того, как разразилась война. Однако одно случайно оброненное слово позволяло представить это в общих чертах: аристократ, псовая охота, Довиль, Монте-Карло.

Несмотря на отсутствие вина, приемы пищи были самыми лучшими моментами дня. Так мы смогли друг друга лучше узнать, у нас появились общие привычки и традиционные шутки. Но все, что мы могли сказать друг другу в этот вечер, казалось пустым и бессмысленным. Все думали о предстоящем утре, о Нью-Йорке, все молчали, словно находились в тайномговоре.

Ужин закончился. Завсегдатаи пикета и мантильи собирались встать из-за стола. Но тут Боб поднял руку и произнес небрежным голосом:

— А не сыграть ли нам партию в баккара?

Поскольку Боб говорил редко, а о его удивительном подвиге знали все эскадрильи ближней разведки, каждое его слово значило очень много для его товарищей. Они все инстинктивно повернулись к капитану. И тогда капитан произнес:

— Если это предложение вам нравится, то я не возражаю.

Некоторое время все сомневались. Одни не умели играть в баккара. Другие боялись, как бы эта игра не завела их слишком далеко. Но шеф эскадрильи всех успокоил. Правила? Достаточно несколько минут, чтобы их понять, даже ребенок в них разберется. Ставки? Каждый решал сам, сколько ставить, согласно своим желаниям и возможностям. Понтировать можно было в любой момент и чем угодно.

Единственный, кто мог проиграть по-крупному, так это тот, у кого был банк. Все играли против этого банка, при каждой сдаче банк собирал или покрывал все ставки.

— Если никто не возражает, то я с удовольствием возьму банк, — сказал капитан.

Он вопросительно взглянул на всех, как обычно любезно улыбаясь. Но ни

у кого не было ни времени, ни возможности ответить ему. Вдруг я произнес очень громко, голос мне не повиновался:

— Не возьмете ли меня в качестве компаньона, мой капитан?

Вокруг стола слышалось то, что принято называть разными реакциями: удивление, насмешка, упрек. Я был самым юным в эскадрилье как по возрасту, так и по званию, и уж точно я был не самым богатым. Молча капитан смотрел на меня некоторое время, и по выражению его глаз я понял, что он догадывался о мотивах, что двигали мной. Рискнуть по-крупному. Участвовать в каждом ходе. Держать, сдавать, переворачивать карты, прикасаться к ним. И, кроме всего прочего, стать партнером, входившего в круг избранных, завсегдатая знаменитых казино.

— Вы когда-нибудь держали банк? — спросил он у меня.

— Я... Мне еще не представился случай, мой капитан (на самом деле у меня просто никогда не было денег), но я видел, я знаю...

Капитан прервал меня:

— Тем лучше, мой дорогой, тем лучше. Дуракам везет. Фортуна улыбается новичкам. Это всем известно.

И он подмигнул мне быстро, по-дружески, как заговорщик. Ввести в игру новичка, ощутить его страхи — это придавало партии особую остроту, что не могло не волновать его.

Я присоединился к нему в углу стола, откуда начиналась раздача. Я был настолько счастлив, насколько это позволяло мое тщеславие. Что касается денег, у меня было двойное жалованье в этот месяц, путевые расходы, да и вообще, новичкам везет. Разве они не всегда выигрывают?

И я выигрывал, выигрывал удивительным, необычным образом. Мой компаньон предоставил мне полную свободу действий. Разделял ли он всеобщее суеверие? Или же ему гораздо больше нравилось наблюдать за моей игрой, чем играть самому? Не так это важно. Карты оживали в моих руках, зависели от меня, входили в игру по моей воле. И складывались в мою пользу. Время от времени капитан давал мне совет: играть или не играть до пяти очков, внимательно следить за ставками слева или справа — самыми крупными. И удача по-прежнему была на моей стороне.

В конце игры перед нами лежал довольно длинный ряд карт, собранный во время всех партий, что мы уже сыграли. Нужно было вновь перетасовать все карты для нового банка. Передо мной возвышалась целая гора денег. Слишком много денег для младшего лейтенанта, не имевшего ничего, кроме собственного жалованья.

— Удачное крещение, мой дорогой, — сказал капитан. — Но везенью новичка пришел конец. Нужно уступить другому.

Я смотрел на него в изумлении:

— Как?! При таком везении! И таком количестве денег в банке.

Он улыбнулся, закурил небольшую сигару и склонил голову.

Мы проиграли один, два, три, десять ходов подряд. И тогда капитан сказал мне:

— Послушайте, на этот раз нужно уступить ход.

Все ждали моего решения. Но это лишь раззадорило мое самолюбие. Развенчать меня! И потом, я чувствовал, что это была моя ночь, моя...

— Хорошо, я продолжу один, — сказал я.

И что самое забавное: именно в это мгновение я понял, что проиграл. Но все силы мира не смогли бы меня удержать. Капитан забрал свою часть из нашего выигрыша, больше он к картам не прикоснулся.

И началась схватка. Те, кто в конце моего первого банка уже вышел из игры или играл, но скромно, стали увеличивать свои ставки. Все, кто покинул игровой стол, вновь вернулись. Я проиграл все, что выиграл, и даже более того. И когда у меня не осталось ни гроша, я стал играть на честное слово. Мне занимали деньги. Казначей выдал мне жалованье за следующий месяц.

Один банк. Еще один, потом еще. Капитан отправился спать, и многие последовали его примеру. Осталась горстка одержимых, ослепленных страстью к игре или жаждой наживы. Даже если бы остался только один игрок, я бы продолжил играть...

Вдруг все ощутили сильный толчок. Машины замедлили ход. Я сам не заметил, как наступил день. «Президент Грант» готовился причалить к берегу.

Нью-Йорк, мы прибыли в Нью-Йорк!

Небоскребы в дымке тумана, статуя Свободы, Гудзонов залив, моя самая большая мечта — я все пропустил, все испортил сам ради игры в прокуренной комнате.

Я поднялся на мостик, словно сомнамбула.

Все сирены порта приветствовали нас, а буксиры, украшенные французскими и американскими флагами, вытанцовывали фарандолу вокруг нашего корабля. На набережных толпились люди. На берегу нас ожидал кортеж из машин, предоставленных муниципалитетом.

Нас отвезли в мэрию, повсюду нас встречали радостными криками. Сколько раз подобные кадры потом, гораздо позже, показывали кинотеатры и телевидение.

По ходу следования кортежа люди разбрасывали самодельное конфетти — разрезанные на мелкие кусочки газеты, они пели Марсельезу. А на тротуарах крики толпы смешивались с клаксонами.

А потом, сменяя друг друга, выступали глава государства, мэр Нью-Йорка, а тостам не было конца и края. Мы совершили морскую прогулку по Гудзону и проливу Ист-Ривер. Мы прошли по широкому Бродвею, исследовали небоскребы от первого до последнего этажа. Небоскребы — фантастика, до этого мы их видели только на почтовых открытках. Везде нам предлагали выпить. И повсюду мы пели Марсельезу.

Наше удивление все возрастало. Мысль о том, что нас встречают как героев, даже не приходила нам в голову. В крайнем случае, мы рассчитывали на фанфары на причале, но эта всеобщая и непрекращающаяся радость в течение трех дней, что мы пробыли в Нью-Йорке, — к этому мы совсем не были готовы. Было от чего потерять голову. Создавалось впечатление, что все жители города собрались вместе, чтобы приветствовать нас, машины на время перестали ездить, а поезда не отправлялись с вокзалов...

Нам понадобилось время, чтобы понять, что происходит. Мы — первые победители, ступившие на американскую землю. Никто не мог оказаться здесь раньше, чем мы, ведь мы отправились в путь в тот самый миг, когда объявили о перемирии. Но особенно потому, что мы были французами. А в то время, после четырех лет войны, унесшей тысячи жизней и уничтожившей не одну деревню, благодаря битве при Вердене, благодаря Жоффру, Петену и Фошу, Франция считалась великой военной державой.

К тому же мы были летчиками. Люди, умеющие летать. Небесные воины. Мы были окружены ореолом легенды.

Авиации едва исполнилось десять лет (кратковременные полеты я в расчет не беру). Мы были покорителями, первооткрывателями неба. Сколько людей в 1918 году сидело в кабине самолета? Таких людей было ничтожно мало. Абсолютное незнание условий воздушного боя приводило к тому, что многие американцы задавали нам самым серьезным тоном вопрос:

— А вам доводилось брать самолеты в плен?

Пленные самолеты... А как же, закидывали на них лассо!

Надо признать, что Франция была одной из лучших в ведении воздушных боев. Американские пилоты и наблюдатели проходили обучение во французских эскадрильях, чтобы ознакомиться с последней техникой ведения боя. В нашей эскадрилье их было много.

Подобные почести заставили нас думать, что мы действительно герои,

сверхлюди, и это вызывало безумную радость.

Дни, проведенные в Нью-Йорке, казались сном. Мы с трудом отличали день от ночи. А потом нам предстояло отправиться в Сан-Франциско.

Так продолжалось в течение всего путешествия, с востока на запад континента, от одного океана до другого.

В списке официальных остановок фигурировали только крупные города. И в каждом городе нас ждал подобный прием. Речь мэра, тосты, Марсельеза, конфетти, банкет. Наш поезд, а путешествовали мы в специальном поезде из десяти вагонов, предназначался исключительно для наших товарищей из танковых частей и нашей эскадрильи, поезд был просто роскошный, мы о таком даже и не мечтали.

Однако не это удивило нас больше всего, а то, что между Чикаго и Сан-Франциско нам пришлось останавливаться не один десяток раз. При объявлении о приближении нашего поезда люди выходили на рельсы и перекрывали движение составу. Чтобы мы вышли, чтобы подарить нам сигареты, спиртное, чтобы показать нам окрестности, леса, озера, горы. Так, с триумфом, мы добрались до Калифорнии.

Здесь мы пробыли довольно долго. Целых шесть недель.

За это время мы узнали, что нам надо было присоединиться к французским, американским, английским и канадским войскам, усиленным чешским, а также венгерским, польским и румынским полками. Состояли эти полки в основном из дезертиров и беглых заключенных. Из этой армии в Сибири должен быть сформирован фронт, а десятки тысяч людей должны были противостоять армии Вильгельма II, на тот случай если бы она двинулась за Урал.

Тем временем сам кайзер Вильгельм II укрылся в Голландии, а перемирие было подписано 11 ноября. Как следствие, все это не имело никакого, абсолютно никакого смысла. Наша экспедиция должна была закончиться здесь, на берегах Тихого океана. Никаких сомнений. Это было очевидно. Каждый день мы ждали приказа о возвращении.

Естественно, инструкции приходили, их передавал нам военный атташе Франции в Вашингтоне. Все они были похожи одна на другую как две капли воды: ожидать следующей инструкции. И мы ждали. Шесть недель. Да, шесть недель Генеральный штаб, если так можно выразиться, держал нас в подвешенном состоянии на берегах Тихого океана. И шесть недель мы пользовались и даже злоупотребляли теми безумными возможностями, которые жизнь неожиданно нам подарила.

По прибытии, едва мы вышли из поезда, нас окружила ликующая толпа. В числе первых были журналисты, фотографы, кинооператоры. Следом за ними женщины... Женщины в форме Красного Креста, в костюмах, в пальто, пожилые, совсем юные, продавщицы, официантки, миллионерши. Все кричали, смеялись, протягивали нам цветы, записки о свидании, сигареты, подставляли губы для поцелуя. Невероятно. Честное слово, все так и было.

Всех нас поселили в одном отеле, самом роскошном отеле города — отеле San Francis. Когда мы заказывали стаканчик в баре, бармен отказывался брать с нас деньги. Комнаты тоже ничего нам не стоили, дирекция отеля предоставила нам их бесплатно. Даже на улицах, если мы брали такси, то заплатить нам не удавалось — от денег водители отказывались. Мы перемещались с одного приема на другой, с одно торжества на другое, из ночного клуба в ночной клуб, и повсюду, где бы мы ни находились, все приветствовали нас стоя, и мужчины, и женщины. А оркестр играл сначала Марсельезу, потом «Мадлон»¹.

Среди военного состава, естественно, существовала служебная иерархия. Механики, клерки, те, кто был в наряде, короче говоря, все те, кого мы по-дружески называли «нелетный состав», жили в небольших отелях, и уже тем более они не ходили на всякие торжества. Но город оказывал им такой же теплый прием, какой встречали мы. Они вели беззаботную жизнь. Приглашения сыпались как из рога изобилия. Обед у кого-нибудь дома или в ресторане, вечеринки в барах, прогулки по Сан-Франциско и его великолепным окрестностям, приглашали даже на свадьбы...

Зато просили подарить на память нашивки младших офицеров, ордена у тех, кто их носил. А когда уже не осталось ни нашивок, ни военных крестов, в ход пошли фуражки, когда и их не стало, то некоторые додумались разрезать на мелкие кусочки собственные обмотки.

Многие дарили все это от чистого сердца, по инерции, если так можно сказать. Но были и не столь восторженные личности. Они продавали эти сувениры. И я уверен, что именно они первыми придумали использовать в качестве подарка обмотки. Впрочем, нашивки, фуражки, обмотки большей части нелетного состава были уже не нужны. Они попросту были не пригодны к военной службе или вследствие физических недостатков, или по причине ранения, полученного на войне. Многие из них получили приказ о

¹ Популярная песня, впервые ее исполнил певец Бак в 1914 году. Своим успехом песня обязана военному театру, где Бак спел ее для фронтовиков.

демобилизации во время нашего пребывания в Сан-Франциско. А это значило, что наша эскадрилья, будучи уже бесполезной, таким образом становилась еще и недееспособной. Не хватало служб и не хватало механиков.

Что, однако, не помешало мне совершить полет. Со случайным знакомым. Американцем, одним из многих, одним из тысячи, с кем мы тут познакомились. Их было так много, что я не помню никого из них. Но этого я запомнил, его звали Фред. И не без причины.

Фред был военным летчиком из Сакраменто — столицы штата Калифорния, он пригласил меня посетить его эскадрилью. В офицерской столовой мы подняли бокалы за Францию, Соединенные Штаты, Калифорнию, авиацию, за погибших и живых. После чего он мне сказал:

— Идем, совершим небольшой полет.

К счастью, моя бдительность была усыплена немалым количеством алкоголя. Фред хотел поразить французского летчика, ветерана, повидавшего войну. Не очень удачная затея. В скромной, небольшой тренировочной развалюхе, совсем не предназначенной для выполнения трюков, разве что можно было сделать мертвую петлю, перевороты, бреющий полет на расстоянии двух метров от земли, да еще горки, которые ему удавалось выполнять у самой земли каким-то чудесным образом. Мне было запрещено выказывать какое-либо недовольство, как не мог я и остановить эту игру. Вопрос чести и достоинства. После каждой ужасной фигуры, которую выполняла эта развалина, Фред поворачивался ко мне и хохотал, я считал себя обязанным ответить ему таким же смехом.

Целый час фигур высшего пилотажа! И самолет приземлился, словно бабочка, севшая на цветок.

Моим единственным другом, в самом глубоком смысле этого слова, был Боб. Дружба между нами возникла мгновенно еще во Франции, с каждым днем она становилась все крепче благодаря нашим проделкам. За эти шесть недель мы редко появлялись порознь. Мы стали «ужасными братьями» Сан-Франциско.

Из всех этих чудесных дней и бессонных ночей в моей памяти остался только вкус незнакомых алкогольных напитков. Кто во Франции знал о скотче, хлебной водке и о невероятном количестве коктейлей, придуманных в Соединенных Штатах. Танцы до упаду. Никогда в жизни мы столько не танцевали, как в то время в американских городах. Все смешалось в этих танцах: джаз, новые па, конец войны. Мы танцевали, когда пили чай, во время коктейля, ужина, ужина после спектакля или вечеринки. Танцевали до рассвета, когда

ели и пили, во время перемены блюд. Боб был великолепным танцором. Я — очень плохим.

В качестве объяснения я выдумал себе героическую сказку. Я рассказывал, что мой самолет сбили во время боя и я так и не восстановился после перелома правой ноги. Красивые женщины мной восхищались и относились с особой нежностью. Они с радостью соглашались проводить время рядом с раненым героем. Чтобы моя история казалась правдоподобной, я даже хромал. Чаще всего в разгар ночи я с трудом помнил, на какую именно ногу.

Выпивка, джаз, Марсельеза, «Мадлон», ощущение, что мы короли этого города, — все это объясняло нешуточный разгул страстей. Наступила ночь 31 декабря. Это была незабываемая ночь. Все тому благоприятствовало. Конец года совпал с окончанием войны, но было и нечто большее: приближавшийся неумолимо запрет на спиртное. Основные пункты сухого закона были приняты и одобрены. Но закон только еще должен был вступить в силу. Таким образом, в последний раз и так долго, в преддверии нового года, американцы могли пить любой алкогольный напиток в любом количестве, не боясь выпить какую-нибудь гадость и заплатив приемлемую цену. Город на целую ночь погрузился в безумие. У меня осталась пара-тройка воспоминаний...

Кто-то из моих друзей сидел за одним столом с американской парой в *Tait's*, одном из самых популярных ночных клубов города. Вдруг мужчина вскочил со своего места с бокалом в руке, на восхищенном лице блестели слезы, и прокричал:

— Да здравствует Франция! Да здравствуют французские летчики! Я что угодно для них сделаю! Я вижу, что вам нравится моя жена. Я ухожу. Я вас благословляю.

И он ушел.

Другое ночное заведение. Боба и меня подняли вверх двадцать рук, поставили на стол, и, пока нам наливают виски, мы должны были петь в двадцатый раз Марсельезу.

Одна из улиц Сан-Франциско... Два кабака напротив друг друга. Всего три шага — и ты в другом клубе. Ну что ж, делать нечего. Нас с триумфом перенесли на руках из одного заведения в другое. Один раз, второй, третий.

Деньги текли рекой. Золотые монеты, пять долларов, десять, двадцать долларов. Золото имело ту же ценность, и не центом больше, что и казначейские билеты!

Несколько часов спустя я думал, что весь город, в прямом смысле этого

слова, был пьян. Не только его жители, но и дома, деревья в парках, холмы, на которых раскинулся Сан-Франциско, пьяными были даже разноцветные фуникулеры, плавно ползущие, то вверх, то вниз по склонам холмов.

Да, Сан-Франциско прощался с нами как подобает, или, скорее, в соответствии с теми излишествами, которые он столь щедро дарил нам в течение шести недель.

Поскольку мы отправились в путь, едва наступил 1919 год.

Генеральный штаб позволил нам продолжить нашу миссию, хотя на этот раз принятие решения потребовало немало раздумий. И, несмотря на то, что наша эскадрилья была недееспособной из-за того, что многие вернулись на родину.

Даже более того. Перед отправлением мы узнали, что наши самолеты находились на борту грузового судна, покинувшего порт Шербура. Путь во Владивосток лежал через Панамский канал. А это несколько месяцев в море. Таким образом, неопределенное время нам предстояло находиться во Владивостоке без единого самолета.

Итак, мы поднялись на борт «Шермана», такого же военного корабля, как и «Президент Грант». На этот раз наше путешествие продлилось несколько недель. Переход через Тихий океан занял около месяца. Но прошел он в совсем иных условиях.

Погода нам благоволила. Океанский бриз приносил прохладу в жару. Зыбь на поверхности океана уходила далеко за горизонт и терялась из виду. Теперь мы оставляли за собой не Францию в тот миг, когда все ее колокола возвещали о перемирии, а город, удовольствия которого пресытили и утомили нас. Воинам прежде всего необходим был отдых. Да и на борту корабля мы больше не были единственными пассажирами. Кроме нас, на корабле были еще два батальона морской пехоты.

Сегодня все более или менее представляют себе, кто такие морские пехотинцы: элитные формирования, где царили жесткая дисциплина, боевая подготовка и беспощадная муштра. Современные морские пехотинцы — невинные младенцы по сравнению с пехотинцами конца прошлого века и начала нынешнего (имеется в виду конец XIX и начало XX века, — прим. ред.).

Они действительно были самыми выносливыми. Само время сыграло в этом немалую роль. Сервис, удобства, да и все, что просто облегчало жизнь даже для морской пехоты, — все это имеет огромное значение для американской армии, но тогда для этого просто не было материальной базы. Впрочем, никто особенно об этом и не задумывался. Военные редко вызывали

уважение и симпатию. Военная служба в то время не была обязательной. В армии служили только профессионалы. То есть те, кто не был способен ни на что другое, кроме как сражаться. В большинстве своем наемники, авантюристы на военном довольствии. И особенно морские пехотинцы, своеобразный гибрид, наполовину солдаты, наполовину моряки. Короче говоря, самые выносливые из всех, настоящие *tough guys*².

Среди наших крутых парней, я хочу сказать, среди тех, кто находился на «Шермане», было немало рядовых, а также офицеров и унтер-офицеров, которые принадлежали как раз к морской пехоте. Мускулистые, беспечные в моменты спокойствия, но при малейшей опасности готовые на убийство, кожа у них была цвета старого дерева, обветренная многими ветрами и загорелая на солнце Китайского и Карибского морей и Индийского океана. Они пришли и взяли Кубу. Они пришли и взяли Филиппины. Они устроили в Пекине боксерское восстание.

Они были просты как в общении, так и в своих манерах. Ничто, как мне кажется, не могло их удивить. Во всяком случае, не наши качества как летчиков. Они столько уже повидали, столько всего пережили, столько убивали, порой людей весьма странных. Для них мы были *greens*, что значит «зеленые», то есть новобранцы, новички французской армии. *Greens* по возрасту и по маленькому опыту общения с этим бескрайним миром. Хорошие слушатели для их рассказов.

Они только и ждали, чтобы рассказать о своих приключениях. К этим рассказам подходили и их голоса, уставшие от многолетних плаваний по морю, от потасовок, крепкого табака, ужасной выпивки и сквернословия. Мы восхищались ими. Наши знания английского сводились к тому, что мы помнили еще со школьной скамьи, да к тому немногому, что мы выучили на улицах Сан-Франциско. Этого явно было недостаточно, чтобы понимать все, о чем они говорили. Но этот полупонятный язык не мешал нам наслаждаться общением. Он давал пищу для фантазий. «Шерман» тем временем находился во власти волн, синева которых могла сравниться по глубине цвета только с сапфирами, а легкий бриз, дующий со стороны не видимых глазу островов, пах так вкусно. Время как будто замерло в пространстве. Мы пили вкуснейшие напитки.

Конечно, на этом корабле все спиртные напитки находились под строжайшим запретом. Как и на «Президенте Гранте». Согласно законам и внутренним правилам, на всех военных судах спиртное было запрещено. Но у

² Крутые парни (англ.).

наших морских пехотинцев были свои неписанные законы и правила. В офицерской столовой, в кафетерии, на мостике они просили только воду и чай. Только вот у воды часто был сильнейший привкус джина, а чай источал запах виски или рома. В каютах все было еще проще. Там все вещи назывались своими именами. Чем выше звание, тем больше был запас спиртного. Что касается коммодора военно-морских сил США, капитана «Шермана», то как моряк он вполне соответствовал морскому пехотинцу, поэтому и разместил в своих апартаментах настоящий бар. Наливали матросы. Расходы покрывались из ставок в игре.

Всего было три стола, у каждого — свой председатель. Правое крыло — подполковник пехотинцев. В центре — коммодор — первый после бога. Левое крыло — представитель бога собственной персоной — падре, священник при войсковой части. Все трое были очень похожи, один — настоящий солдат, другой — бандит, третий — церковный развратник. Лица у них были то ли загорелые, то ли красные, все они были широкие в плечах, но с уже заметным брюшком, в зубах кубинская или филиппинская сигара, вечная улыбка. Казалось, что они из одного племени, из одной семьи. Из всех троих мы больше всего любили падре.

Несмотря на свои шестьдесят лет, он любил посмеяться, выпить, да и рассказывал он лучше, чем другие, его истории были самыми непристойными. Он покори нас в первый же вечер. Вот как это было. Как только ужин подошел к концу, он обратился к нам:

— Вот вы, кто, как я полагаю, чувствует себя в небесных просторах столь свободно, как ангелы божьи, — я сомневаюсь, что вы способны повторить то, что могу делать я, смиренный слуга божий.

— О чем вы говорите? — поинтересовался Боб.

— Все очень просто. Нужно достать зубами большое яблоко из чаши, наполненной водой.

— А вы умеете это делать?

— Увидите, — мягко сказал падре.

— Может, и нам попробовать?

— Почему бы и нет, — произнес падре. — Ради этого стоит заключить пари. О, весьма скромное пари. По доллару с каждого. Я один против вас всех.

— Согласны! — сказали хором мои товарищи по эскадрилье.

Нам следовало бы проявить больше осторожности. Чаша с водой уже стояла на столе. А в ней плавало огромное яблоко. Нас окружили пехотинцы и офицеры с «Шермана». Что же делать? Среди наших спутников мы, правда,

выглядели как новички. Один за другим мы пытались. Никто, даже открыв широко рот, так, что, казалось, порвутся щеки, так и не смог вытащить яблоко.

— Замечательно, — сказал падре.

Он завернул рукава, затолкал в рот пальцы и вытащил вставную челюсть, зажал яблоко между зубными протезами и поднял его высоко над головой, как если бы это была просвира. Не сказав ни слова, он снова положил яблоко в чашу, вставил назад челюсть и забрал деньги — около пятнадцати долларов, что лежали прямо перед ним.

Мы все дружно захлопали. Как и все остальные, мы делали это от всего сердца, уверяю вас.

Доллар был невысокой платой за подобное развлечение, за такого кюре на таком корабле.

Мы не могли бы начать лучшим образом наше совместное существование. Остальное сделали за нас бокалы. А также обмен воспоминаниями. Мы готовы были бесконечно слушать рассказы морских пехотинцев. А они любили расспрашивать нас о Франции.

Они никогда там не были, ни до, ни во время войны. В основном их вопросы касались женщин. Не могу поклясться, что мы говорили правду и только правду. Мы давали волю воображению и фантазии. У нас неплохо получалось. Поскольку они нас слушали, нам надо было удовлетворить их желание услышать что-нибудь удивительное и необычное. На наши самые нелепые выдумки эти выдавшие виды люди реагировали как дети. Как нас вдохновляли небоскребы Манхэттена, так они мечтали о борделях Парижа и Марселя.

Благодаря пехотинцам мы пристрастились к покеру. Эту игру практиковали во многих эскадрильях. Кому-то действительно покер нравился. Другие же играли из уважения к новым друзьям. Некоторые привносили в игру постоянство и точность курса лечения. Я употребляю это слово в прямом его значении, самом прямом.

Море было спокойным и прекрасным. Ни малейшего дуновения ветра, не было даже пены от волн. Движение волн на поверхности Тихого океана никогда не прекращалось. Некоторые мои товарищи с трудом выносили постоянную качку. Сначала это причиняло небольшие неудобства. Но «Шерман» двигался в ритме метронома, он спускался по ходу движения медленной, огромной и нескончаемой волны, чтобы потом, как только он достигал ее высоты, начать движение к вершине уже следующей волны, погружения и подъемы сменяли друг друга. Это мерное покачивание из

обычного неудобства становилось причиной настоящего недомогания, которое постепенно сменялось настоящей морской болезнью. Врач пехотинцев попытался оказать помощь тем, кто страдал больше всех. Но это только ухудшало их положение.

И тут вмешался падре.

— Я в этом больший дока, чем Док, — сказал он.

Он нашел этих несчастных кого лежащим на скамейке на мостике, кого растянувшимся на кровати в каюте, заставил их встать и притащил за покерный стол.

— А теперь играйте по-крупному, — приказал он.

Мертвенно-бледные, ошалевшие, они повиновались ему. И — о чудо! Поверьте мне на слово, через несколько ходов они были во власти желания выиграть.

Сегодня сложно понять, что представлял собой подобный переход, когда тебе всего двадцать лет, а на дворе самое начало 1919 года. Большие путешествия той эпохи не имеют ничего общего с массовыми путешествиями в группах, меню и картой вин, которые столь щедро предлагают многочисленные туристические агентства. Для этого нужны были время, особые профессии, специальные случаи. На картах было полно белых пятен, неизвестных земель. Далекие моря хранили свои сокровища и легенды. Среди них был и Тихий океан, самый большой в мире.

Дельфины резвились вокруг «Шермана», акулы плыли рядом, в небе то и дело появлялись невиданные птицы, словно крылатые облака, кильватер пел только ему знакомую песню, а солнце катилось к закату. Я смотрел, смотрел во все глаза. Здесь островок, а там коралловый риф. А вот заросли пальм. Иногда — в библиотеке было полно книг подобного жанра — я читал Стивенсона, Мелвилла, Джека Лондона, капитан Кук, Бугенвиль или Васко да Гама оживали передо мной. Я говорил себе: «Острова мечты, острова, благословленные южными морями, — мне предстоит их увидеть». Как знать, как знать...

Десять дней в море, наконец мы на Гавайях... Гонолулу.

Я не сказал бы, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как Кук открыл этот архипелаг. Немало лет разделяло дату открытия островов и дату нашего прибытия, однако материальные условия и формы быта еще не успели претерпеть головокружительных изменений, как в наше время. Одежда, пища, напитки, хижины, праздники все еще хранили свою первозданность.

Еще не прошло и двадцати лет с момента установления американского протектората. Местные вожди, принцы и короли еще были живы. Повсюду

девственные пляжи. Примитивная простота и доброжелательность нравов. Ритуалы и табу были исполнены магии. А гостеприимство — истинной добродетели. Путника встречали как дорогого гостя, а не как клиента. Гирлянды и ожерелья из великолепных цветов, звуки укулеле, танец хула — все это в исполнении мужчин и юношей, женщин и девушек еще не превратилось в спектакль, фольклор за деньги, а было старым как мир радушным приемом.

Вот почему в их танцах и инструментах, в их голосах были и самобытность, и сила, которые им предстояло потерять вместе со своим раем. Бедные, бедные райские уголки, где вместо музыки слышалось бряцание монет, где пахло хот-догами и гамбургерами, а по выходным на зафрахтованных рейсах сюда прибывали толпы туристов.

Но почему я думаю об этом? Я закрываю глаза и вижу девушек, исполненных грации, чувственности и чистоты, вижу юношей с красивыми телами, сформированными лазанием по склонам вулканов, нырянием и греблей на лодках, плаванием на пирогах, которые они делали из деревьев, как их далекие предки. И юноши, и девушки носили венки и пояса из цветов, запах которых завораживал, они пели и танцевали, как перед мрачными богами, которым они все еще поклонялись. А в центре, на голову выше их всех, стоял старик, он и руководил этим действием.

Был ли это бывший вождь, король или принц? В нем была величественность и гордость. Великий колдун? В нем были огонь и тайна. А может, его неистощимый и неутомимый пыл объяснялся употреблением кавы, из которой на островах готовили напиток и сильнейший наркотик? Или это священное неистовство было дано ему от природы? На эти вопросы нет ответов... Да и возникли они у меня гораздо позже. В то мгновение работа мысли словно остановилась, повисла в воздухе.

К счастью, Япония была второй и последней нашей остановкой. Ничего нового. Наше пребывание здесь было слишком кратким. Нужно было запастись углем. Никаких контактов с людьми. Отсюда впечатление нереальности происходящего. Перед нашим взором возникали, увеличиваясь многократно, образы, сошедшие с гравюр и почтовых открыток: люди, одетые в кимоно, гора Фудзияма, курума, люди, впряженные в маленькую двухколесную повозку. Храмы и, наконец, Внутреннее море³, его маленькие сказочные острова, маленькие домики, маленькие поля, небольшие бамбуковые леса,

³ Японское море.

миниатюрные буйволы, маленькие люди на берегу, и с правого и с левого борта казалось, что они находятся на расстоянии вытянутой руки.

И вдруг все изменилось, чудесная картинка исчезла, как по щелку хлыста. Корабль и мир. Небо и свинцового цвета вода. Даже барашки от волн были серого цвета. Нам вдруг стало холодно, очень холодно. Этот холод принес ветер, не знавший пощады, он обжигал, хлестал по лицу. От ветра веяло льдами. Да, это был Тихий океан, но уже чувствовалось дыхание Арктики.

Дни шли, снег усиливался, мостики все больше покрывались льдом. Ледокол прокладывал фарватер, чтобы «Шерман» смог войти в порт Владивостока.

Владивосток.

Прошло восемьдесят дней с тех пор, как мы покинули Брест.

ВЛАСТЕЛИН ВОСТОКА

Иная вселенная. Другая планета. После огромного количества людей, суматохи, величественных строений в порту Нью-Йорка, великолепной бухты Сан-Франциско, его *Golden Bay*⁴ — Золотой бухты, после пляжей Гонолулу и волшебства Японского моря, после такого количества солнца, столь насыщенной жизни и красоты, что же предстало перед нашим взором? Тусклый свет, замерзший порт, корабли в тисках льдов; на набережных китайские кули, одетые в лохмотья и копошащиеся, словно черви. Все: небо, лед, дома, люди — все было серого цвета, все было мрачным и грязным.

И, наконец, расположившись по кругу и развернув пушки в сторону города, подобно черным стальным призракам, в тумане стояли японские броненосцы. Да, японские. В этой войне они были нашими союзниками. Почему? Против кого? Признаюсь, я уже не помню этого, если я вообще когда-то это знал. Во всяком случае, их военные корабли находились здесь, словно закованные в льды мрачные чудища, они охраняли подступы к мертвенно-бледному континенту.

Да, это раздражало. Но одновременно восхищало. Эта таинственная земля в плену льдов именно из-за того, что она казалась столь запретной, пробуждала непреодолимое желание ступить на нее. Тем временем матросы свалили в кучу наши ящики прямо на палубе, морские пехотинцы прощались с нами. Они считали *french greens*⁵ своими друзьями и искренне сочувствовали

⁴ Золотая бухта (англ.)

⁵ Французские новобранцы (англ.)

нашей участи.

Им предстояло идти на юг, в теплые моря. Местом их остановок должны были стать райские уголки, где царили выпивка и дебоши, огромные притоны, легендарные места Дальнего Востока, имя которым Шанхай, Гонконг и Кантон⁶. И, наконец, их ждали Филиппины, пляжи и девушки, прелести которых они нам воспевали.

Я не завидовал им. Правда, ни капли не завидовал. Попойки, игры (игра в покер на борту «Шермана», как и следовало ожидать, разорила меня в пух и прах), экзотические цветы и фрукты — всем этим я был уже пресыщен и утомлен. За излишества всегда приходится платить. И нравственное похмелье — далеко не самая ужасная расплата. Сейчас мне было необходимо прийти в себя, обрести новые силы в климате тяжелом, суровом и опасном. Владивосток давал нам такую возможность. Владивосток... Владивосток... По-русски: Властелин Востока. Так называли город его создатели. Я узнал об этом в Оренбурге, когда учился в гимназии⁷. Освоение Сибири... Началось оно с Ермака, разбойника с большой дороги во времена царствования Ивана Грозного. Растянулось на века, на расстояние в тысячи миль, потребовало перехода через гигантские реки, ледяные пустыни, непроходимые чащи лесов... и завершилось покорение на берегах Тихого океана, где и построили Владивосток — Властелин Востока. Вряд ли когда-нибудь столь страстное ожидание заканчивалось подобным разочарованием. И это Властелин Востока? Жалкий провинциальный городок в глухой местности... Грязный снег. Мрачные ветхие домишки. Ни одного проспекта или приличной улицы. А вдоль скорбных фасадов неторопливой поступью проходили патрули, при этом все солдаты были одеты в разную форму. Какой удар по моим мечтам! Какое падение в реальность!

Но сильное разочарование — эта заброшенность и неустроенность — открывало чудесную возможность окунуться в иную жизнь, отличную от той, что мы вели совсем еще недавно. И вновь с удвоенной силой на меня нахлынули детские воспоминания.

Не прошло и десяти лет, как я покинул Оренбург и Урал. Тамошние люди, как впрочем и здешние, зимой носили тулупы из овчины, валенки и меховые шапки. Здесь, как и там, сквозь ледяные узоры окон можно было увидеть

⁶ Старое европейское название Гуанчжоу.

⁷ После Аргентины семья Кесселя переехала в Оренбург, родной город его матери, где они прожили с 1905 по 1908 год.

дымящийся самовар, а из кабаков вываливались на улицу и падали в снежные сугробы такие же пьяницы — грудь нараспашку, несмотря на холод. Купола церквей, сани, упряжки — все было похоже. И если в Оренбурге ты бесконечно натыкался на татар или киргизов, сыновей степей Туркестана, то здесь, во Владивостоке, это были выходцы из тайги или тундры Полярного круга: буряты, якуты, самоеды⁸. Не говоря уже о китайцах. Те же плоские лица и раскосые глаза.

Однако, когда мы добрались до места расположения французской миссии во Владивостоке, тогда все остальное было забыто и потеряло значение. Чтобы в это поверить, надо было увидеть все собственными глазами. Из-за нехватки места миссию разместили в музее этнологии, археологии и естественной истории⁹. Вдали от Омска, месторасположения ставки, французским офицерам приходилось работать среди скелетов гигантских китов, чучел сибирских тигров — самых крупных в мире, стрел, сделанных из костей, и прочей утвари каменного века.

Вот в какой обстановке мы впервые слышали о том, что происходит.

Порт Владивостока контролировали японцы, этим объясняется их далеко не последняя роль в этой сибирской истории. Нельзя было умалять и роли чехов. Они удерживали железную дорогу.

И тут история принимает удивительный оборот. Чехия против собственной воли входила в состав Австро-Венгерской империи. До завоевания в истории королевства была славные времена. В течение многих веков чехи вели борьбу за независимость, устраивая бунты и восстания. Имея славянские корни, они видели в России свою естественную покровительницу, а в русских — старших братьев. Когда началась Первая мировая война, взводы, роты и целые батальоны чехов дезертировали, чтобы присоединиться к русской армии. В 1917 году в России их объединили в армию численностью от 15-ти до 20 тысяч человек, хорошо вооруженную, с собственным командованием и движимую единственным желанием: вернуться на фронт и оказаться по другую сторону линии военных действий, откуда они бежали, сражаться против бывших хозяев, чтобы вернуться на освобожденную родину.

Но тут в России произошла Октябрьская революция, Советы и Германия подписали Брестский мир. И вот чешские добровольцы, организованные и дисциплинированные, страстно желающие вступить в бой, оказались в самом

⁸ Устаревшее название самодийских народов.

⁹ Сейчас здание музея им. Арсеньева по ул. Петра Великого.

сердце бескрайней России, погруженной в пучину Гражданской войны, к которой чехи не имеют никакого отношения. Тогда они принимают решение, почти безумное. Они решали расчистить себе путь, чтобы вернуться на родину.

Прямой путь, с запада, им закрыт. Здесь хозяйничают немцы. Но это не имеет никакого значения. Они захватывают восточное направление. Это значит — Волгу, Урал и всю Сибирь до Тихого океана, чтобы однажды сесть на какое-нибудь судно. Такой путь растянулся на десятки тысяч километров посреди неизвестности в самом пекле кровавого хаоса. И чехи проделали этот путь. Они брали, одну за одной, станции Транссибирской магистрали и добрались до Владивостока. Построенная два года назад новая ветка присоединилась к самой длинной железной дороге в мире не так давно.

Таким образом, у японцев был необходимый, уникальный по своим возможностям выход к морю, где благодаря ледоколам была возможна круглогодичная навигация. А у чехов была железная дорога, дающая пропитание и жизнь. Японцы и чехи, две силы, великолепно организованные, надежные и эффективные.

Но во всем остальном — беспорядок, несогласованность, беспредел и полный кавардак. В таких выражениях рассказали нам об этом офицеры. Все вызывало у них отвращение. Собрав людей с четырех концов света во имя борьбы с призрачным врагом, но теперь сложившая оружие, эта противоестественная экспедиция представляла собой невероятную смесь. Словно над ней колдовал какой-то безумец.

В состав английских войск входили индийский батальон и французский батальон из частей Тонкина¹⁰. И это в Сибири, в самый разгар зимы! Наверное, от того, что они находились ближе всего.

Еще были дезертиры и военнопленные из австро-венгерской армии, собранные в отдельный отряд в соответствии с национальностью. Подчинялись они специальному командованию, а именно никакому.

— Вы заметили патрули, когда приехали? — интересовались наши сослуживцы. — Выглядят они неплохо, правда? Ну так вот, они сформированы из представителей двенадцати стран, один солдат от каждой страны. Именно двенадцать. Давайте посчитаем вместе. Соединенные Штаты, Франция, Англия, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Сербия и Япония. И, наконец, Россия.

— Но какая именно Россия? — спросили мы. Вот где действительно

¹⁰ Старое название северной части Индокитая, нынешнего Вьетнама

был кошмар.

Во главе иерархического треугольника, в Омске, огромном сибирском городе, находился генерал Колчак, наделенный всеми внешними атрибутами власти. Премьер-министр, правительство, внушительный генеральный штаб, многочисленная свита из высокопоставленных генералов, высших должностных лиц и высшего духовенства старой Святой Руси. Провозглашенный регентом империи, Колчак поклялся уничтожить красных и вернуть трон наследнику царской семьи.

Но в этой империи, европейской части России, имевшей в своем распоряжении истинные ресурсы, как человеческие, так и промышленные, — ее поддерживал цвет нации, — в этой России правили Советы. На территории же Сибири, вне всяких сомнений бескрайней, но малонаселенной, Колчак мог рассчитывать только на несколько деморализованных полков регулярной армии да на несколько батальонов белых офицеров, выполнявших обязанности обычных солдат.

Удалые казаки, находящиеся в бегах, каторжники, сбежавшие благодаря царящему беспорядку, шайка золотоискателей, охотники и бродяги, всегда готовые поживиться, — вот из кого состояли другие «войска» Колчака.

В том, что касалось снабжения, все зависели от Транссиба, то есть от чехов, и от порта, а значит, от японцев.

А отряды красных партизан вели свою войну, нескончаемую и жестокую.

На этом рассказ французских офицеров был завершен. Прислонившись к скелетам китов или мамонтов, соломенным чучелам тигров и медведей, мои друзья и я — мы долго не могли произнести ни слова. Наконец кто-то спросил:

— А что во всем этом будем делать мы?

Оба лейтенанта одновременно пожали плечами.

— Как и мы, — сказал один из них. — Будете наблюдать со стороны.

— За чем?

— Для начала за прибытием ваших самолетов.

— Где они?

— Точно мы не знаем. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью: Панамский канал они еще не пересекли.

Мы посмотрели молча друг на друга. Грузовые суда не отличались быстрходностью, они еще не вошли в Тихий океан...

— До их прихода, — сказал самый старший по возрасту лейтенант, — у вас будет масса заданий. Командир вашей эскадрильи распределит их наилучшим образом. Командовать патрулями в этом месяце предстоит кому-то

из французских офицеров. Нужно усилить состав сил безопасности. Необходимы представители для взаимодействия с генеральными штабами... Это надо же!

Я слушал, как оглашали этот список, но на этот раз с отчаянием. Я был уверен, что из этих обычных поручений, нарядов, других глупостей мне достанется самое худшее. Как самому младшему по должности и по званию. Все мои товарищи имели право выбора передо мной.

Вдруг, почти закончив оглашение заданий, лейтенант спросил у командира нашей эскадрильи:

— Господин капитан, кажется, один из ваших офицеров говорит по-русски?

Капитан указал на меня. Человек из генерального штаба наклонил ко мне голову и сказал:

— Я сочувствую вам, мой бедный друг.

Я хотел узнать у него, в чем именно заключалось мое задание. Но подобная информация была не в его компетенции. Должно быть, это была очень секретная миссия.

— Завтра зайдете к патрону, — сказал он. — К подполковнику. У него вы получите необходимые распоряжения и соответствующие бумаги.

Он сам вряд ли заметил, как мне кажется, что в его голосе и во всех его манерах появилось что-то от командующего. Он был старше меня лет на пять-шесть и имел на одну нашивку больше, чем я. Что в нашем возрасте имело большое значение. Его форма вышла из-под рук хорошего портного, а в его начищенные до блеска сапоги можно было смотреться, как в зеркало. Почувствовал ли он, что своим тоном задел меня? И тут лейтенант обратился ко мне со всей искренностью и простотой, как товарищ к товарищу:

— Исходя из того, что мне об этом известно, а это со всем немного, я могу пожелать вам только удачи.

Этой ночью я почти не сомкнул глаз.

Подполковник оказался добродушным толстяком, неряшливо одетым. Даже его усы несли печать покорности и тоски.

— Как и следовало ожидать, вы слишком молоды, — сказал он. — Но поскольку вы знаете русский, ведь вы говорите по-русски?

— Так же хорошо, как и по-французски, господин полковник.

— Ну что ж...

Он развернул карту.

— Генерал Жанэн и французский корпус находятся в Омске. Это здесь...

Мы — во Владивостоке, это вот здесь. Как видите, это довольно большое расстояние. Нам поручено доставить в Омск оружие, боеприпасы, теплые вещи. Суда будут разгружены в порту. Их примут японцы и все проконтролируют. Они дисциплинированы и честны. Никаких нареканий. Но затем груз перейдет в руки русских. И тогда все кончено: груз просто испарится, исчезнет. Задача номер один: найти наш груз. Транспортировка также зависит от русских. Катастрофически не хватает оборудования, у них никогда нет достаточного количества вагонов. Задача номер два: найти вагоны. Задача номер три: прицепить вагон к составу и договориться с машинистами об отправке этого состава. Вам все понятно?

— Да, господин полковник... Но каким образом?

— Благодаря этому!

Полковник придвинул ко мне запечатанный конверт и сумку. Сумка была необъятных размеров.

— Подпишите, пожалуйста, расписку в получении, вскроете это позже, — сказал полковник.

Некоторое время он молчал, затем произнес:

— Я думаю, что мы обсудили все необходимые вопросы. Вам будет помогать чешский сержант. Он объяснит все остальное. Тут ничего нельзя сделать без чехов.

Когда я прощался с ним, он неожиданно спросил:

— У вас есть револьвер? Нет? Это нехорошо. Вам нужен револьвер, поверьте мне. Одну минуту...

И он выдал мне разрешение на получение оружия.

Милан, сержант Чешского легиона, уже ждал меня. У него был спокойный взгляд, высокие квадратные плечи, большие сильные руки и искренняя улыбка. Мобилизованный Австрией, когда ему исполнилось восемнадцать, он перешел на сторону русских, как только оказался на фронте. Присоединился к Чешскому легиону. Затем, в рядах легиона, он сражался бок о бок с солдатами царской армии. Потом случилась революция. С оружием в руках он прошел все этапы — Россию белогвардейцев, Великую Россию, Уральские горы и всю Сибирь до Владивостока. По-русски он говорил почти так же хорошо, как и на родном чешском. Мы прекрасно поладили.

Милан привел меня к себе. Низенький домик, совсем покосившийся, но идеально чистый. Кроме Милана, здесь жили еще три младших офицера. Когда мы оказались в комнате Милана, он сказал мне:

— Здесь вы можете вскрыть сумку и конверт, ничего не опасаясь.

В конверте находились, снабженные всем необходимым — печатями, подписями, распоряжения миссии для предъявления гражданским и военным властям Владивостока. Именно этого я и ожидал.

Но когда мне удалось сорвать печати и вскрыть замки на сумке, то у меня закружилась голова. Она была до отказа набита банкнотами. Пачки денег, много пачек, в каждой тысячи рублей. Милан поднял сумку, которую я уронил на пол, и сказал:

— Скоро привыкните, вот увидите. Ко многому придется еще привыкнуть.

Прежде чем продолжить, он достал из буфета бутылку водки. Я догадался: пришло время выпить стаканчик-другой. Все просто и ясно.

Боеприпасы, оружие, провизия, вагоны, локомотивы, начальники депо, начальники поездов, механики. Короче говоря, люди и вещи — мы должны были все купить, а также подкупить всех и вся, иначе задание не выполнить. Но сделать это надо не по рыночным ценам. Тут и бюджета целого государства вряд ли хватило бы. Придется прибегнуть к взяткам.

— Ах, эти русские! Эти русские, — все повторял Милан.

Во вздохе, который сопровождал слова Милана, я не уловил ни ноты презрения. Ничего, кроме боли, и нечто, похожее на стыд. С самого его детства огромная восточная империя — славянская страна, как и его родина, — была священной надеждой, высшей и надежной защитой. Когда с риском для жизни он пересекал австрийскую линию фронта, он делал это, чтобы броситься в объятия всемогущего старшего брата. И вдруг империя оказалась урезана до границ Сибири. И повсюду царили нищета, беспорядок и отчаяние. Законы устанавливали иностранцы. А он, простой сержант, был наделен большими полномочиями, чем генералы.

— Ах, эти русские, эти русские, — повторял Милан. — Сами поймете. И я понял.

Я мог бы рассказать о портовых притонах, пахнущих водкой и преступлениями, о китайских трущобах, где среди грязи и паразитов ютились голодные кули. Они тысячами приезжали сюда, тайно пересекая границу.

Я мог бы также рассказать и о борделе, размещенном в бывшей казарме, готовый рухнуть в любое время. Здесь жили тысячи проституток — японки, кореянки, китаянки — я не преувеличиваю, их было несколько тысяч. Жили они в клетушках шириной в метр и длиной два метра, отделяли их друг от друга маленькие грязные занавески, из обстановки здесь едва умещалось убогое ложе, сооруженное прямо на полу, а другая занавеска закрывала выход в бесконечно длинный коридор, поделенный надвое этими комнатенками.

Такой вот бордель-казарма на тысячи девушек, без полотенец, без кувшинов с водой.

Да, я мог бы часами рассказывать об этом. Но мне хотелось бы скорее вернуться к тому, в чем, собственно, заключалось поле моей деятельности.

Первый человек, с которым я должен был встретиться для выполнения моего задания, был, естественно, начальник дорожной службы, русский полковник из армии Колчака. Как и следовало ожидать, его контора располагалась на вокзале. Милан проводил меня к нему.

Вокзал был большим, внушительным по размерам, более чистым и пристойным, чем многие городские здания. Он еще не испытал на себе разрушительного влияния времени. Ветка, соединившая Владивосток и Транссиб, была построена не так давно. При ближайшем рассмотрении вокзал производил весьма благоприятное впечатление. Но как только мы вылезли из саней и оказались у верхней платформы, я потерял способность думать о чем бы то ни было. Повсюду был этот запах. Мерзкий, неотступный... отвратительный запах. С каждой ступенькой зловоние только усиливалось.

Мы дошли до платформы, казалось, что воздух повсюду был пропитан и насыщен этим смрадом.

— Проходите, — сказал мне Милан.

Он стоял у огромной, немного приоткрытой двери — это был вход на вокзал.

Я подошел к нему. Милан, навалившись всем весом, толкнул плечом одну из створок двери.

— Проходите, — повторил он.

Я не мог. Нет, я не мог этого сделать. Вокзал и был источником зловония, который просто сбивал с ног. Отвратительный до тошноты запах. Но и это было еще не все.

От двери до самых дальних уголков зала пол был устлан густой отвратительной массой, мягкой, рыхлой, похожей на торф или трясину. Никто не знал, жива ли она или мертва, поскольку иногда масса лежала неподвижно, а иногда совершала едва заметные движения. Сквозь окна, грязные от копоты, толстого слоя пыли и инея, пробивался слабый свет сероватого оттенка. Мне понадобилось много времени, чтобы различить в этой массе, покрывавшей все пространство зала, так что яблоку негде было упасть, человеческие тела, переплетенные, связанные между собой.

— Пойдемте! — еще раз повторил Милан, но на этот раз тоном, не требующим возражений.

Я повиновался. Он вошел следом за мной. Дверь захлопнулась за нами. Я чуть было не задохнулся. Испарения и затхлый запах образовывали нечто вроде влажного пара, проникавшего не только в ноздри, в горло, но и во все внутренности. Пахло жиром, немытыми телами, нечистотами, мочой и блевотиной. Не хочу думать, что за запах царил на верхних этажах вокзала. Там, где был я в данный момент, зловоние ощущалось почти физически.

— Идите вперед! — сказал Милан.

Это я и делал. Шаг за шагом, шаг за шагом... Мелкой поступью, ни на минуту не отрывая взгляда от ног. Поскольку это месиво, эта каша, желе из человеческих тел, раздвигаясь, отставляло проход не больше ширины ладони.

Вдруг я остановился, охваченный страхом и отвращением. Я наступил на что-то мягкое и рыхлое. Живот? Или грудь?

Милан (может, и он наступил кому-то на живот или грудь?) шел впереди меня.

Мы ускорили шаг. Тропинка посреди тел стала немного шире. Вероятно, из-за того, что Милан носил довольно тяжелые ботинки. Или из-за того, что время от времени он выкрикивал: «Чешский легион». А во Владивостоке, как и на протяжении всей Транссибирской магистрали, это было единственное формирование, пользующееся уважением.

Когда, оказавшись в полумраке, я поднял голову, я различил с трудом, но все-таки различил в бесформенной лежащей массе какие-то существа, позы и даже черты их лиц. Они больше не были мусором, как попало сброшенным в выгребную яму. Эти тела превращались в мужчин, женщин и детей. Но каких мужчин, женщин и детей!

Лежали ли они на животе или свернувшись клубком, сидели ли, подогнув под себя колени, опирались ли на локти, большую часть времени они не двигались и напоминали скорее парализованных. Те же, кто совершал какие-то движения, делали это едва заметно. Не хватало не только места, но и сил. Их лица были покрыты грязью, соплями, гнойниками и язвами. У некоторых лица были чистые, но в глубине их глаз и уголках рта — то же бессилие и, что еще хуже, та же покорность.

«Все кончено», — говорили глаза и сомкнутые губы этих несчастных.



Царившее здесь непроницаемое молчание было столь же невыносимо, как и зловоние. То тут, то там слышались плач ребенка, душераздирающий кашель, хрипение, но никаких других звуков... Лишь однажды какой-то мужчина в лохмотьях поверх голого тела захотел протянуть нам руку. Милан оттолкнул его.

Подашь одному, как объяснил он мне, и пробудишь одного за другим десять, двадцать, а то и сотню его соседей. Бессмысленно. Да и незачем. Эти люди были на краю... дальше пустота. Они бежали от красных, белых, пожаров, грабежей, безумных до неправдоподобия новостей. Крестьяне, буржуазия, ремесленники — никто не смог преодолеть препятствие, ставшее для них концом всего: океан. И тогда они пришли на последний в их путешествии вокзал и остались здесь.

Потому что, несмотря на то, что на вокзале не топили, здесь все-таки было не так холодно, как на улице. Да и можно было прижаться к соседу. Они поступили так же, как бездомные и пьяницы, давно облюбовавшие это по-

мещение в качестве убежища.

У края надежды. На краю света.

Наконец мы прошли через весь зал. Выход охраняли русские милиционеры. Один из них проводил нас к полковнику, начальнику вокзала. Это был мужчина высокого роста, с седеющими волосами, располагающий к себе своей учтивостью. Его тонкое аристократическое лицо выражало отчаяние. Все необходимые мне документы и печати были уже готовы.

— Я думаю, они вам пригодятся, — сказал полковник.

Он улыбнулся приветливо и печально. Он сам не верил в свои слова.







Владивосток. Зима 1919 г. Чужеземный гость



Владивосток. Зима 1919 г. Сидит под портом, спавшийся лодочник



Начинать подобным образом было действительно нелегко. Но даже самое тяжелое испытание иногда несет в себе противоядие. Я сказал себе, что мне повезло, что я начал в аду. Это закалило меня и сделало более толстокожим. Я видел худшее, что только может быть.

Я был бы прав, если бы худшее имело пределы...

Я должен был отправить в Омск все необходимое для экспедиционного французского корпуса. Чтобы сделать это, мне надо было, не без помощи Милана, подкупить чиновников, найти подвижной состав и соответствующих машинистов среди русских.

Нам предстояло искать все это в вагонных депо, мастерских и парках, разбросанных на километрах железнодорожных путей и замерзших троп. Чтобы охватить как можно большую территорию за минимальное время, мы разделились. Таким образом, в один из дней, когда я осматривал участок с запасными путями, я обнаружил на одном из путей одиноко стоящий длинный

товарный поезд. Но без локомотива. Вокруг никого не было. Вероятно, товар уже выгрузили, а новый еще не пришел. Стоило рискнуть. Все можно было сделать благодаря неразберихе, продажности и тем деньгам, что я имел. Часть конвоя вполне могла сменить совершенно неожиданно своих начальников.

Поистине удивительно: в процессе охота, какой бы ни была добыча, вдруг обретает силу страсти. При мысли о том, что многие из этих вагонов я мог бы внести в свой список и тем самым удивить Милана, меня охватила безумная радость.

Не обращая внимания на скользкие рельсы, на шпалы, о которые я спотыкался, на скрытые снегом и грязью ямы, куда я проваливался по щиколотку, я побежал. Как будто боялся, что товарный поезд ускользнет от меня. Остановился я только у головного вагона... Впечатления меня не обманули. Изнутри не раздавалось ни единого шороха, ни малейшего шума. Да, маловероятно, что где-то поблизости находилась охрана, а вот грабители здесь явно побывали. Впрочем, для них ничего стоящего здесь уже не было. Да, я все увидел верно. Только это были не совсем товарные вагоны. Это давно были *tieplouchki*.

Во французском нет слова близкого ему по значению. Может быть «*chaufferettes*»¹¹? Но и это не точно. Теплушками, *tieplouchki*, на Транссибе называли вагоны, предназначенные для перевозки грузов, но приспособленные для пассажиров, у которых не было денег, чтобы заплатить за нормальное купе. Это были вагоны четвертого или пятого класса.

Обустроить их было нетрудно. Многоярусные кровати одна над другой вдоль всех перегородок до самой крыши, тесно прижатые друг к другу. Посередине печка с огромной трубой, конец которой выходил наружу. Так бы я описал теплушки.

В ходе наших поисков я не раз натыкался на такие вагоны, но в них всегда кто-то жил. Обычно их по-прежнему занимали пассажиры, прибывшие в место назначения и не нашедшие жилье. На неопределенное время. Тысячи людей жили в подобных условиях, они занимали один поезд за другим, один путь за другим. Это были удивительные деревушки, расположенные вдоль железнодорожных путей в обездвиженных поездах. Небольшое пространство между двумя линиями служило их жителям улицами.

Как им удавалось выжить? Может, благодаря случайной работе, спекуляции, тайным занятиям или мелким кражам? Никто не смог мне этого

¹¹ Настольный обогревательный прибор (франц.).

объяснить. Больше всего они беспокоились по поводу того, чем топить печь. В этом климате тепло значило больше, чем еда. Однако из труб моего поезда не шел дым, ни из одной. «Должно быть, всех эвакуировали по той или иной причине, — подумал я. — Совсем недавно, еще никто не успел обосноваться здесь». Выходит, вагоны пусты, а значит, я должен их забрать.

Я надавил на дверь вагона. Она открылась без особого труда. Ее часто открывали. Я запрыгнул внутрь теплушки. Как я и ожидал, в ледяном холоде никого не было. По крайней мере, из-за темноты (единственное совсем небольшое окно было проделано в крыше вагона) я никого не увидел. Однако в ту же секунду я понял, как ужасно я ошибся. Причиной тому был запах, как и на вокзале. Но сейчас мне не составило труда определить, что служило источником зловония. Смрад. Благодаря войне я научился его определять. Но инстинкт запрещал мне высказать вслух мои мысли.

Я распахнул двери. Дневной свет проник внутрь. Отпали все вопросы об источнике запаха. Все кровати до самой крыши и пол до порога — повсюду были трупы обитателей этой теплушки. Не помню, как, пятясь, я выпрыгнул из вагона. Потом я открыл следующий вагон, еще один, еще и еще... Сколько? Четыре, пять, шесть? Не могу сказать. Как и не могу объяснить, зачем я это делал.

Неужели я находился под воздействием ужасных чар? Или я отчаянно хотел удостовериться, что эти морги на рельсах, эти огромные гробы с трупами были плодом моего воображения, что они не могли существовать? Издалека были слышны гудки локомотивов, вопли людей, штурмующих разгруженный поезд, крики чаек, прилетевших с океана. А здесь... здесь...

Я, может, продолжал бы и дальше открывать вагоны, если бы в одном из них, ближе к середине состава, я не услышал голос, очень слабый, приглушенный, как будто он раздавался из подземелья. Я наклонился над одной из лежанок на земле. Женщина шептала в бреду: «Зачем уезжать, Господи Боже мой? Но все говорили: бегите, бегите. А теперь... муж, дети. Господи Боже мой, смилуйся над ними».

Черты ее лица, платок выдавали в ней крестьянку. Она часто дышала, урывками вдыхая воздух, отравленный запахом разлагающихся трупов. Я наклонился к ее лицу и тут же отскочил от нее. Платок, лоб, щеки, губы — кишмя кишели вшами. Женщина попыталась поднять руку, смахнуть грязь, потом она прошептала: «Первые... в Чите».

Мне и в голову не пришло сосчитать, сколько дней и ночей понадобилось поезду, чтобы преодолеть расстояние между Читой и Владивостоком. Меня

охватил ужас. Этот ужас не имел ничего общего со страхом, который двигал мною ранее, то был страх мысленный, отказ принять кошмар, но тогда речь не шла о моей собственной шкуре.

Сейчас все было по-другому. Это был настоящий страх. Всепоглощающий, отвратительный, мерзкий. Я трясся от страха за свою шкуру, за свою бесценную, жалкую, грязную шкуру. Если хоть одна вошь, хоть одна коснется меня...

В панике я выскочил из вагона. Бросился бежать... Дальше, как можно дальше и как можно быстрее, как можно дальше от этих больных тифом... подальше от эпидемии, косившей целые поезда. Трупы сжигали, вагоны — нет. Вагоны были жизненно необходимы. Дальше... Как можно дальше...

Наконец, чтобы не упасть, я прислонился к стене, только тогда я смог взять прийти в себя. Я отправился на вокзал. Мне нужно было поговорить с русским полковником, начальником железнодорожного сообщения.

Поговорить о чем? О чем-нибудь, только не о больных тифом. Мне нужно было поговорить с простым и приятным человеком, обреченным жить, не имея возможности хоть что-то изменить, посреди хаоса, грязи, несчастий и смерти, но сумевшим сохранить в себе чувство стыда и жалости.

Я забыл о своем намерении, еще до того, как вошел в холл. Удивительно, но двери, обычно закрытые и замерзшие от холода, на этот раз были широко распахнуты. Груды лежащих тел, поверх которых приходилось идти, чтобы заставить их сдвинуться с места, пришли в движение, они толкались и топтали друг друга ногами, стараясь как можно быстрее оказаться на перроне.

Из глубины зала раздавались громкие крики и стоны. Когда я вошел внутрь, то увидел, что в центре зала не было ни одного нищего, что проводили здесь дни и ночи, его как будто вычистили, вымели. У стен валялись раздавленные тела всех тех, кому не удалось убежать.

В свободном пространстве я увидел двух человек: лицом ко мне стоял вокзальный служащий, а спиной — казачий офицер. Служащий прикрывал руками лицо, в этом жесте была не только мольба, но и стремление защитить себя. Он умолял:

— Ваше благородие, ваше благородие, я все сделаю для вас, ваше благородие, но у нас нет, я клянусь вам, у нас...

Он не договорил: плеть, висевшая на запястье у казака, — небольшая ручка, длинный шнур из толстой режущей, словно нож, кожи — развернулась в воздухе, словно змея, готовая к атаке, затем обрушилась на служащего, взмыла в воздух и снова устремилась вниз. В одну секунду, одновременно,

раздались три звука: свист плети, звук разрывающейся человеческой кожи и звериный крик человека, получившего удар прямо по лицу. Служащий закрыл лицо руками, сквозь его пальцы сочилась кровь.

— Передай своему начальнику этот привет от атамана, — произнес офицер.

Я все понял: атаман — это Семенов, хозяин Читы... Семенов, простой унтер-офицер из казаков Приамурья. Рассказывали, что он ушел два года назад в сопровождении семи человек, и ни одним больше, чтобы преследовать красных партизан. Захватывал по дороге все оружие, какое только смог найти. Собрал студентов, бросивших учебу, сбежавших каторжников, дезертиров, золотоискателей, оставивших опостылевшие рудники, охотников, уставших от капканов, бродяг без кола и двора, блуждавших по бескрайней тундре и тайге. Сформировал сначала сотню, интересовавшуюся только грабежами, выпивкой да девочками, затем сотня превратилась в банду и, наконец, в армию. Семенов провозгласил себя атаманом. Остановился в Чите. Бог Гражданской войны.

В этот момент появился полковник, начальник вокзала. Его красивое, изможденное лицо имело сероватый оттенок. Голос его дрожал. Но в нем не было ни страха, ни возмущения. Он сказал:

— Лейтенант, вы не имеете права. Вы же офицер, вам должно быть стыдно. Вы...

И он тоже не успел договорить. Вновь взлетела в воздух нагайка — безжалостный хлыст, если умело использовать его, мог вполне убить человека. И полковник тоже закрыл разрезанное лицо руками.

— Собака, — прошипел сквозь зубы казачий офицер из банды Семенова. — Сукин сын, чтоб твоя мать сдохла, слушай меня внимательно, на этот раз тебе повезло. Но завтра ты выделишь, согласно распоряжению, двенадцать дюжин свечей. Если не выполнишь, то я вернусь и тогда...

Он не стал дальше распространяться, погладил кобуру с внушительным револьвером, висевшим у него на поясе, и развернулся на каблуках.

Мы оказались лицом к лицу. Он был приблизительно моего возраста, высокие скулы, удлинённое лицо, жесткий подбородок, а губы и глаза у него были невероятно бледного цвета. И во всем его облике надменность и равнодушие ко всему, почти нечеловеческое равнодушие.

— Ого! Посетитель, — пробурчал он себе под нос, даже не пытаясь скрыть раздражение.

Но тут он заметил на воротнике моей шинели знак военно-воздушных сил Франции, и выражение его лица мгновенно изменилось. Вместо гримасы на

лице появилась радостная улыбка, и он воскликнул:

— А! Летчик.

Вдруг он заговорил по-французски, с ужасным акцентом.

— Comment vous allez, Monsieur?¹²

Я ответил ему по-русски:

— Спасибо, лучше, чем ваши жертвы.

Полковник пытался идти на ощупь в свой кабинет, у него были разорваны веки. А служащий прикладывал к лицу грязную засаленную тряпку. Казак рассмеялся от всей души, правда, от всей души.

— Ах, вы об этом! — сказал он. — Это! Господин французский летчик, говорящий по-русски, вы увидите еще много других.

Он осмотрел меня с ног до головы, встретился со мной взглядом и продолжил торжественно:

— Меня зовут Олег. Я приглашаю вас сегодня в гости от имени людей атамана.

Согласился ли я вопреки или из-за того, что он сотворил своей нагайкой? Более мудрый, может быть, и ответил бы на этот вопрос. Но не я. Мое согласие объясняется тем, я в этом уверен, что все в нем выражало любовь, непреодолимую жажду приключений. Даже больше: он сам воплощал приключение. А он, вероятно, почувствовал в офицере, наполовину французе, наполовину русском, тот же зов, ту же нужду, ну, может, не столь явные.

Он взял меня под руку, и мы пошли. Снова рельсы, шпалы, рытвины. Темнело. Мы часто спотыкались. Мой компаньон выкрикивал ругательства, самые грязные, какие только можно вообразить. Но настроение было хорошим. Все шло замечательно. Мой новый необычный друг, казалось, был дарован мне небесами. Лишь на одну ночь? А потом? Одна ночь или целая вечность — какая разница? Этому тоже, среди всего прочего, учили в Омске. Курс философии. Да, год он учился в университете. Шесть месяцев он был курсантом. А потом — бах! — все полетело в тартарары. Царь расстрелян. Вместо него адмирал, любитель поболтать. Повсюду грабежи, взяточничество, убийства. Награда достается самому сильному и жестокому. Да здравствует Семенов! Вот это человек! Атаман.

Я поинтересовался у него, правда ли, что в Чите Семенов захватывал провизию, предназначенную для американских, французских и английских подразделений.

¹² Как поживаете? (франц.).

— А почему бы нет? Мы у себя дома, разве не так?

Его голос мгновенно изменился, я заметил, как нагайка пришла в движение у него на запястье. Но ничего не произошло. Он хлопнул меня по плечу и ускорил шаг. Он был голоден, хотел пить, да и мы приближались к логову, говорил он.

Я в такой темноте практически ничего не видел. Должно быть, у него зрение было как у кошки, раз он столь быстро перемещался среди невидимых железнодорожных путей. И он вовремя подхватил меня, иначе я бы ударился лбом о стену какой-то гигантской развалины.

— Мы пришли, это депо, — сказал он.

Мы его обошли и вышли на платформу для разгрузки поездов. Рядом с платформой тянулись фонари. После непроглядной и давящей темноты свет, который они источали, казался волшебством.

— А вот и наш поезд! — произнес мой компаньон.

Это и правда был поезд. Наверное, бронированный. Ничего более. Сам того не желая, я подумал о другом поезде, о теплушках. Все во мне сжалось, когда я поднимался по ступенькам вслед за моим попутчиком в один из вагонов.

Я почувствовал, как у меня закружилась голова. Головокружение. Настоящее головокружение. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы удержать равновесие, чтобы прийти в себя. Было от чего сойти с ума, слишком силен был контраст между тем, что мне довелось увидеть несколькими часами ранее, и тем, что открылось моему взору.

Уже сами по себе поезда Транссибирской магистрали имели необычный вид. Расстояние между рельсами здесь было больше, чем во многих странах, поэтому и купе были просторнее. Принимая во внимание, что путешествие проходило в условиях сурового климата, а расстояние и продолжительность не имели себе равных, вагоны были оборудованы с особой тщательностью и заботой, какой нигде не встретишь. Но и это еще было не все.

После холода ночи, лабиринта покрытых льдом путей я оказался на земле пропащих людей, на пиратском корабле со всеми его сокровищами. Я ничего не выдумываю. Так и было.

Вагоны-гостиные, вагоны для частных обедов, вагоны, где стояли кушетки, как в лучших купе, — раньше ими пользовались князья, господа да другие высокие чины Священной Руси. Существующая вне закона армия Семенова устроила себе пристанище из этого поезда, логово. И какой кричащей роскошью они себя здесь окружили!

Персидские ковры, китайская парча, шелка из Бухары и Самарканда, шкуры медведей и тигров из тайги, великолепные иконы, дорогое оружие. Все это богатство или висело на стенах, или валялось в беспорядке на полу, а то попросту было свалено в кучу на полу. Чего здесь только не было: военные трофеи, награбленное во время разбоев в крупных процветающих городах, тюки из богатых домов, мешки со складов торговцев-миллионеров и из поездов, захваченных прямо на вокзале или остановленных посреди пути.

А посреди великолепных трофеев — казачьи офицеры, грубые черты, неприятные физиономии. На голове огромные шапки из куницы, бобра, соболя или норки, длинные приталенные мундиры, на груди патронташи, начищенные до блеска, а на поясе ремень, украшенный кинжалами с насечками.

Их было около двадцати. Одни валялись на шкурах, другие сидели за столом вокруг кувшина из червонного золота, наполовину заполненного водкой. Они осмотрели мою униформу, их глаза изучали меня с головы до пят. А во взгляде — недоверие, злоба, презрение. Люди Семенова не любили любопытных иностранцев. Последние оставили после себя не самые лучшие воспоминания.

— Мой гость, — сказал Олег.

С тем же выражением лица офицеры, которые лежали, слегка приподнялись со шкур, а сидящие за столом немного привстали. Все слегка коснулись пальцем своих шапок. Выказали тем самым радушие. Сдержанно. Но все-таки выказали. Я был не при исполнении служебных обязанностей, я не пришел жаловаться, требовать или угрожать.

— Он говорит по-русски, — сказал Олег.

Это не произвело должного эффекта.

— Он — летчик, — продолжал Олег и показал на мои знаки отличия.

liotchik. Летчик, то есть тот, кто летает. «Летчик» — слово передавалось из уст в уста по всей комнате. Летчик. Меня окружили. Прикасались к моим значкам. Многие ли из них видели вблизи или в небе самолет? Вероятно, никто.

— Выпьем, — сказал Олег.

Бокалы скорее подходили для вина, но в России их использовали не по назначению. Водку налили до самых краев. Первый тост произнесли за Семенова, я выпил залпом, как и все остальные. Второй был за бронированный поезд. А третий за летчика.

— Минуту, — произнес Олег, когда я готовился уже выпить. — Минуту.

Вы и я — мы выпьем за то, чтобы говорить друг другу ты.

Он обвинил мою шею рукой, в которой держал бокал, я сделал то же самое, мы скрестили руки, наши головы почти соприкасались, мы залпом выпили водку. Олег разбил свой бокал о стол. Я спросил:

— Зачем?

— Чтобы никто, кроме нас, не смог из них больше выпить.

Я нашел это великолепным. Со всего размаху, от всего сердца я вдребезги разбил свой фужер.

— Настоящий летчик, черт возьми! — закричали мои товарищи по столу.

Я был среди своих. И начался праздник. Какое угощение! Денщики с внешностью разбойников, но великолепно одетые так и рассыпались в обращениях «ваше благородие», подносили нам то и дело на тарелках золоченого серебра копченую рыбу и черную икру, пирожки с капустой, семгой, мясом. Вино текло рекой. Здесь было вино с Кавказа, токайское и из Рейнской области, даже из Шампани. Я спросил у Олега, откуда взялись все эти бутылки. Он кивнул в сторону платформы.

— Оттуда, с винного склада. Атамана предупредили о прибытии партии. У него свои люди на таможне. Атаман отправил нас захватить груз. С пулеметами, на всякий случай.

У него был красивый смех. Налил мне сверкающего золотистого вина, должно быть, из Реймса или Эпернея, и воскликнул:

— За твоё здоровье, мой дорогой летчик, ты это заслужил! Может, одна бутылка здесь предназначалась для тебя.

Праздник продолжался. Кто-то играл на аккордеоне. Никто его не слушал. Все пили, кричали, ругались. Но его это не волновало. Он играл для себя. Я был почти пьян. Я еще не привык, не научился пить, это пришло ко мне позже. Иногда мне казалось, но лишь на одно мгновение, что там, по дороге в депо, в той теплушке, звуки нашей разгульной вечеринки доносились и до умирающей женщины, поедаемой вшами. Алкоголь терял свою силу. Время шло. Аромат соусов и специй, табачный дым, запах вина одурманивали все сильнее. Жирные руки, тяжелые ботинки, сверкающие клинки оскверняли, портили, кромсали бесценные ковры и парчу. По-прежнему продолжали пить, зарождалось смятение.

Какой инстинкт их вел? Он никогда не оставлял их, я так думаю. Вдруг — ни единого звука, ни звона посуды, ни ноты аккордеона, ни слова. И все, словно их подбросила внутренняя пружина, одним движением встали, вы-

прямились, вытянулись, словно копья, подбородок высоко поднят, каблуки соединены, руки по швам.

На пороге возник человек, такой огромный, что его тело занимало весь проем, очень высокий, так что ему пришлось пригнуть голову, чтобы пройти. Двадцать голосов слились в единый крик:

— Здравия желаем, Ваше Высокопревосходительство!

Мужчина не ответил ни словом, ни жестом. Он вошел, сел в первое предложенное ему кресло, пробормотав:

— Как хорошо.

С формальностями было покончено. Все потекло своим чередом, как было до его прихода. Олег шепнул мне на ухо:

— Это полковник Майруз. Бывший каторжник. Он командует бронированным поездом. Один из лучших в армии Семенова. Он не ведает ни страха, ни жалости. Идем, я представляю тебя.

Только потом я разглядел это одутловатое восковое лицо, квадратную с проседью бороду, жесткую, со спутанными, как колючки, волосами, и его глаза непонятного цвета с желтыми кровяными прожилками. В первое время я видел только его нос, бесформенный нос с вырванными ноздрями. Два темных шрама соединялись в одну линию, на месте которой когда-то была плоть, и теперь взору представал обнаженный хрящ.

Это могло быть только следствием сифилиса или следом от зазубренного лезвия ножа или бритвы. Однако, сам не знаю почему, я подумал о каленых щипцах палача — так на русской каторге отмечали особо опасных каторжников.

Командир поезда провел большим пальцем руки, очень длинным, по шраму, но ни слова не произнес.

— Сядь напротив меня, и пусть тебе принесут все, что ты пожелаешь! — приказал он мне.

У него был ярко выраженный сибирский говор, говорил он с трудом, словно давно был болен бронхиальной астмой. Ему подали искусно сделанный кубок, он наполнил его наполовину водкой и шампанским. Он пил медленно эту смесь, тяжело вздыхая после каждого глотка, расстегнул воротник своего мундира, откинулся в кресле и прогремел:

— Француз, да к тому же летчик. Кого только не встретишь во Владивостоке. Ну и как же ты оказался среди нас?

Я рассказал, что меня сюда привел Олег, сам бы я сюда дорогу не нашел.

— Дорогу... Да-да, дорогу.

Полковник закрыл глаза. Но не для того, чтобы спать. Из горла раздался звук, какой-то странный звук, похожий на хруст. Судя по движению его губ, так он смеялся.

— Да-да. Дорога!

И он рассказал, как расставил вехи на дороге, что вела к атаману. Это случилось в прошлом году, в разгар зимы, в местности, известной своими жгучими морозами. Семенов тогда не имел ни достаточного количества людей, ни оружия, чтобы удержать хоть сколько-нибудь значимый город. Он часто менял месторасположение ставки. Люди, мечтавшие оказаться у него в подчинении, прилагали немало усилий, чтобы его разыскать. Тогда полковнику пришла в голову одна мысль, замечательная мысль. Он выбирал подозрительную деревню. Красные? Нет. Ни красные, ни белые. Просто жадные мужики, излишне дорожившие своими свиньями, коровами да перинами. Он привязывал их нагишом с вытянутой рукой к сваям, ждал, пока они замерзнут. Когда на улице минус пятьдесят или шестьдесят, это не занимало много времени. После чего они уходили с добычей. Руки замерзших трупов указывали направление к лагерю Семенова. Если лагерь переезжал, то всегда можно было найти другие деревни, да и в столбах недостатка не было.

Полковник открыл глаза, погладил огромным пальцем погоны, гораздо более длинные, широкие и позолоченные, чем того требовали правила. Атаман вручил их ему в качестве награды.

— Хорошее время, Ваше Высокоблагородие, — сказал Олег.

Все повторили его слова.

— Хорошее, — ответил полковник.

В его глазах, пристально смотрящих на меня, задвигались ниточки крови и желчи. Теперь ставка Семенова находилась в Чите. Большой город, где слишком много было иностранных миссий. Там следовало производить хорошее впечатление. Надо было сдерживать себя, быть благоразумными. Я был само благоразумие.

— Пусть ваши матери достанутся на обед свиньям! — произнес полковник, чеканя каждый слог, и вышел из комнаты.

— Ничего страшного, — сказал Олег. — Он скоро вернется. Он не может спать, задыхается. Пятнадцать лет провел он на соляных рудниках, прежде чем бежал. Понимаешь?

Полковник вернулся. С гитарой. Сел на свое место, настроил инструмент и запел. Вокруг него воцарилось молчание, как штиль на море, никакого волнения. И дело было не в дисциплине, почтительности или услужливости.

Нельзя было ни делать что-то, ни говорить, ни думать о чем бы то ни было. Надо было слушать. Можно было только слушать.

Дело было не в его голосе. Голос был хороший, да и только. А дело было в том, как голос его раскрывал глубину и силу мелодии. Он так точно передавал музыку, так глубоко проникал в нее, образовывал такую с ней гармонию, что звук инструмента и звук голоса сливались в единое целое — уже невозможно было отделить одно от другого. И, конечно, слова. Слова сами пришли к сибирским каторжникам. Наивные, искренние, мощные, вечные. Как просторы, морозы, леса, мучения, которые им пришлось пережить.

Изуродованное лицо бывшего каторжника почти соприкасалось с гитарой, словно он обращался к ней с просьбой помочь ему отыскать и произнести слова, простые, но очень нужные. Он вкладывал в это столько веры, что каждое его слово обретало первородную силу, данную ему при рождении.

Вечные песни о вечном. О слезах и кутежах. О бунтах и жалобах. О кандалах и побегах. Тысячи людей распевали эти песни в течение многих веков на золотых и соляных рудниках. Да и он сам, полковник армии Семенова, хозяин бронированного поезда, пел их тысячи раз. И всегда под рукой у него была эта гитара, простенькая, старая, чиненая-перечиненная, — единственный абсолютно невинный предмет в этой обстановке.

Как, должно быть, он ее любил, его единственную надежду и его спасение. Сколько в нем терпения, нежности, чтобы приучить, приручить семь струн к своим рукам душегуба. Время и сила мало что значили здесь.

Гитара была единственным его компаньоном — людей он ненавидел. Не было у него и собеседников — красиво говорить он не умел. Он любил власть, именно гитара давала ему власть над самыми грубыми, жестокими и бесстрашными людьми, власть большую, чем могли дать его кулаки.

Теперь вместо каторжников он подчинял себе казаков. В разгар грабежей, загулов и убийств они гораздо меньше были подвластны ему, чем когда он пел. А он нуждался в том, чтобы они его слушали. Ничего другого не было в его жизни. На каторге гитара была его свободой, его тенью, его мечтой. Теперь он был абсолютно свободен. Но не знал, что ему с этой свободой делать. И тогда снова на помощь пришли старинные песни. Границы времени и его значение исчезли.

Вдруг тихую тягучую песню с берегов Байкала прервала разорвавшаяся струна, издав пронзительный неприятный звук.

— Ты устала, милая моя... Ну хорошо... На сегодня хватит, — сказал

полковник, поднимаясь со своего места.

Я сидел напротив него, я был первым, на кого упал его взгляд. Он прикрыл глаза. Мысленно он был среди тех, с кем делил тяготы каторги. На какое-то мгновение он задумался, кто я. А потом он увидел, что я находился полностью во власти его песен. Даже я, я стал одним из его людей. Я был в его власти. Его глаза с желтыми кровяными прожилками смотрели на меня с теплотой.

Завязалась борьба — перевернутые столы, удары кулаков, ругань, угрозы. Офицеры хотели выпить. Много. Прямо сейчас. Потопить песни в водке.

— Уходи, маленький летчик, — обратился ко мне с нежностью человек без ноздрей. — Не жди. Так будет лучше.

Он приказал двум казакам меня проводить. Чтобы показать мне дорогу, да и просто на всякий случай. Не все семеновцы еще вернулись.

На морозе я пришел в себя. И от алкоголя. И от песен. От раздирающего меня желания, что водка и песни пробудили в самых глубинах моей души, желания следовать за полковником и его бесшабашными компаньонами во всех их похождениях. Мне хотелось, чтобы вдруг раздался гудок локомотива, чтобы бронированный поезд загремел колесами и тронулся в путь. Сейчас же, под порывами ледяного ветра, я все видел в ином свете. И вот это и есть великое приключение? Этот дьявольский дозор ходил по замкнутому кругу. Это еще хуже, чем каторга. Здесь не было никакой надежды на побег. Принуждение к грабежам, разгулу и бесчинствам. Безграничная власть, чтобы ничего не делать. Возможно, что сопровождавшие меня бандиты с патронташами на груди не догадывались об этом. Каждый из тех, с кем я недавно расстался, смутно осознавал, что гонялись они скорее за своей смертью, чем за смертью других людей.

На вокзал мы пришли, когда уже почти занимался день сибирской зимы. Я не успел ни переодеться, ни умыться. Милан, должно быть, ждал меня добрых полчаса в заранее оговоренном месте. Это было очень важно. Он должен был сообщить мне о новом задании. Очередном в моей миссии.

Моей первой задачей было найти транспорт. Благодаря Милану мне удалось это сделать. Взятка, которую мы дали одному из начальников товарного поезда, позволила нам заполучить один вагон. Теперь мне предстояло его загрузить.

Милан встретил меня, поприветствовал, как обычно, и как друга, и как подчиненного. Ничего в нем, даже его глаза, не намекало на мое опоздание или мой внешний вид. Через плечо у него висела сумка с деньгами для наших

дел.

Мы направились к довольно отдаленному складу. В двух-трех километрах. Снег, рельсы, шпалы. Рельсы, шпалы, снег. По дороге чешский сержант объяснил мне суть дела. Несколько раз. Просто и лаконично. После прошлой ночи только такое объяснение мне и было нужно. Сначала охранник: небольшая взятка; потом кладовщик — взятка покрупнее; наконец, комендант — самая большая сумма.

— А в противном случае? — спросил я.

— В противном случае, — ответил Милан, — нам придется ждать товар не один месяц. Перепродадут?

Нет. Слишком рискованно. Просто потеряют, а концов не найти.

Почти перед самым складом Милан вытащил из сумки-сейфа три конверта. На каждом конверте была написана сумма взятки. Их я должен был вручить сам. Делать нечего. Я был офицером, официальным представителем, французом, гарантом безнаказанности.

Все прошло очень хорошо и очень быстро. Обычная рутина.

— А теперь, — произнес Милан, — начнется настоящая работа.

Мы пересекли весь склад. В другом конце, в самом углу, валялись коробки и мешки, которые с таким нетерпением ожидала в Омске французская миссия. Проверка. Отметка в списке. Порядок. Вдруг открылась тяжелая дверь, и я оказался лицом к лицу с китайцами.

Тьма-тьмущая китайцев в лохмотьях, головы и ноги обмотаны тряпками. Сколько их было? Невозможно сосчитать. На глаз — больше сотни. Они кричали, ругались, стонали, толкались и дрались, как собаки, обезумевшие от голода. Те, кто добрался до меня, были схвачены, отброшены назад.

От натиска сумасшедших, от этих разинутых ртов, протянутых скрученных рук я попытался скрыться в глубине склада. Как вдруг трое мужчин прошли сквозь бушующую толпу нищих и встали к ним лицом. Трое китайцев, высокие, широкоплечие, одетые в добротную теплую одежду, с дубинами в руках. Они били по рукам, по

плечам, по головам. Через несколько минут не осталось ни одного нищего. В освобожденном пространстве, медленно и важно вышагивая, появился другой китаец.

На нем была длинная тога с поднятым воротником, сшитая из темного плотного шелка, простеганного хлопком. Из-под меховой шапки с наушниками была видна длинная, до пояса, блестящая коса. Круглое плоское лицо было смазано толстым слоем жира. Руки спрятаны в пройме рукавов. Он встал перед

толпой, склонившейся в почтении перед ним и хранившей полное молчание. Не успел он и рта раскрыть, как негодующая толпа отступила назад.

Ее место заняла другая группа китайцев. В таких же лохмотьях, изможденные, как и предыдущие, но более благоразумные, молчаливые, обученные ходить строем, по трое в каждом ряду.

— Их шестьдесят, — сказал Милан. — Они принадлежат Фангу, тому, что самый толстый, разодетый в шелка. Он нанимает их на год, платит мизерные деньги, а потом перепродает по одному подороже. Мы вынуждены прибегать к помощи этих торговцев кули. Они умеют выбирать самых здоровых и ловких, чей мозг еще не уничтожен голодом и усталостью. Иначе беспорядок, потерянное время, плохо закрепленный груз, да к тому же вскрытый, надорванные спины, сломанные ключицы и раздавленные пальцы ног. А эти — посмотрите на них.

Кули уже выстроились по цепочке. Коробки, тюки и сумки передавались из рук в руки. Когда груз был распределен, все они повязали лоб кожаной лентой. С двух сторон в этой ленте имелись отверстия, сквозь которые были пропущены веревки с вплетенными в них железными нитями. На уровне пояса к веревкам крепился маленький челнок из очень прочной ткани толщиной с палец.

Как только челноки наполнялись, кули начинали движение, согнувшись пополам, вытянув голову, чтобы компенсировать вес, тянувший ее назад. Они переходили на мелкий шаг, прерывистый, механический, они превращались во вьючных животных.

Вереница продолжала свое движение, как это было во времена Навуходносора, фараонов и строительства Великой Китайской стены. Но уже под небом Владивостока, по обледеневшим путям, мимо локомотивов, которые время от времени резко выпускали пар.

Так продолжалось целый день. От склада до нашего вагона было больше километра. Путь был нелегким. Ноша — просто неподъемная. Дорога туда — с грузом, мелким шагом, медленно. Назад — налегке, быстро. Милан, Фанг и я, мы ждали кули у товарного вагона. Издалека мы наблюдали, как движется вереница сгорбленных китайцев-носильщиков. Только освободившись от груза, присев на корточки, чтобы перевести дыхание, они вновь обретали человеческое лицо.

Какие у них были лица! Худые настолько, что выступали кости, мертвенно бледные губы, безжизненные запавшие глубоко, очень глубоко, в глазницы глаза. Пот, несмотря на холод, выступал на впалых щеках, неприкрытой шее,

там, где лохмотья обнажали тощее тело. Вот так и сидели они с раскрытым ртом, облепленным замерзшими соплями, а Фанг в это время (он говорил немного по-русски и умел писать цифры) отмечал товар по списку. Потом я проверял и ставил подпись.

Хотя работа была не так чтобы очень важной, но требовала моего присутствия. Я оставался на месте до последнего, хотя уже темнело. Нужно было еще заплатить. Об этой неприятной обязанности Милан сказал мне заранее. Я разозлился. Почему я, а не Фанг? Как объяснил мне Милан, Фанг знать ничего не хотел. Деньги должен был заплатить я. Иначе могли бы подумать, что Фанг, наименее заинтересованное лицо, взимал десятину с бедных носильщиков.

Я удивился. Как? Фанг! К чему такая щепетильность? Милан расхохотался:

— Щепетильный, он?! Это все игра, обман, надувательство. Как только мы отвернемся, он заберет у кули все до последней копейки, а затем получит свою официальную умеренную плату, честно заработанную. Он знает, что мы это знаем. И что с того? Главное — сохранить лицо.

И мне пришлось вытаскивать из сумки, которую держал Милан, класть липкие купюры, выцветшие, потрепанные настолько, что они светились на свету, а также монеты со стершейся чеканкой каждому кули в ладони, опухшие от грязи и гноя. А вагон не был наполнен и на десятую часть.

Возвращаясь к месту нашего расквартирования, я думал только об одном: спать. Я упал на кровать так, как был, — со всем, что осталось на мне и во мне после ночи у семеновцев и целого дня, проведенного с кули. Спать. И больше ничего. Спать.

Но уснуть у меня не получалось. Усталость... Полковник без ноздрей... Песни, усталость, носильщики — выючные животные... Вши больных тифом... Усталость... Песни... Я боролся с собой около часа. Безрезультатно. Я спрыгнул с кровати. Больше не было сил.

Я знал, куда мне отправиться.

ЛЮБИ МЕНЯ ГРЕШНОЙ

«Аквариум» — это клуб, ночной клуб Владивостока. Конечно, можно было найти немало мест, чтобы выпить, пока оставались желающие выпить. Вертепы в порту, кабаки недалеко от борделей, тоскливые таверны, опасные для здоровья страдающих от бессонницы, но не располагающих большими средствами. Однако наряду с ними существовало единственное настоящее ночное заведение: «Аквариум».

Естественно, я о нем слышал. Этот клуб знали все иностранные офицеры. Меня же захватили вылазки с Миланом, а это было очень утомительно. Прежде всего, я хотел полностью посвятить себя выполнению порученного мне задания, трудного и не совсем привычного для меня. До этого момента об «Аквариуме» я даже не думал. Но одна ночь все изменила.

Забота о здоровье, чувство долга — в самой страшной дыре! Все за борт! Два зловещих поезда и невыносимые кули. Свет, шум, спиртное, музыка — вот мое спасение...

Я вылил десять кувшинов воды в таз, я оттирал, тер свое тело до крови. Я надел лучшее белье, самую красивую форму (авиация позволяла это), ботинки с самыми красивыми шнурками.

Правда, мне пришлось подождать: «Аквариум» распахивал свои двери ближе к полуночи. Наконец наступила полночь.

Сильный мороз, сани с медвежьими шкурами, толстый бородатый кучер, Светланская, широкая улица, пересекающая весь город. И где-то посреди этой улицы «Аквариум».

Едва я вошел, как увидел, что это превосходило мои самые смелые ожидания. Я был поражен, оглушен, восхищен ярким освещением, размерами этого места и количеством людей, находившихся здесь.

Настоящая сцена. Довольно большой партер, как в крупных театрах, заставленный столиками. Наверху, немного в стороне, галерея широких глубоких лож. Все отделано и украшено согласно моде прошлого века (*т.е. XIX века, — прим. ред.*): высокий округлый потолок, украшенный резвящимися нимфами и сатирами. Тяжелые хрустальные люстры. Безумство золота, кованых украшений, резного дерева.

Чтобы приходить сюда, нужно было иметь много денег и не особенно задумываться о них. До того как началась война и вплоть до революции в порт заходили торговые суда Англии, Америки, Японии, завсегдатаи Китайских морей. Здесь можно было встретить торговцев зерном и сливочным маслом, лесом, рогатым скотом, мехами, владельцев рудников, золотоискателей, трапперов, плативших, когда удача улыбалась им, самородками или соболиными шкурами. Были тут и рынки с ярмарками, большие церковные праздники и просто праздники.

А сегодня — кто были все эти люди, сидящие так близко друг к другу, за столиками или вдоль узких проходов? С того места, где сидел я, в облаке табачного дыма и мерцающем свете люстр я не мог различить ни черт лица, ни движений. Все, что я знал, — что здесь были только мужчины, да еще много

военных.

Я ощутил тоску и одиночество. Но продолжалось это недолго. Дружеский хлопок по спине заставил меня обернуться. Передо мной стоял английский офицер. Погоны майора, около сорока лет, невысокого роста, упитанный, со светлыми волосами, на щеках яркий румянец. Англичанин только зашел, я мешал ему пройти.

Он осмотрел меня с головы до ног, как хорошая ищейка, и обратился ко мне по-французски, немного неуверенно, у него был приятный акцент:

— Новенький? И, как мне кажется, прошу прощения, немного потерянный. Позвольте предложить вам стаканчик. Меня зовут Робинсон.

Он подхватил левой рукой меня под правую руку, и вот я оказался в ложе, где сидели около десяти посетителей, военных и гражданских.

— Все друзья, — заявил громогласно Робинсон. — Вы — друг друзей, они — ваши друзья.

Появился официант. Робинсон заказал шампанское. По-английски. В «Аквариуме» это слово понимали на любом языке.

Этой ночью вино стало мне другом. Оно не вызывало во мне приступы ярости, грусти, не отупляло. Но и не дарило мне радости, что испытывают заядлые пьяницы. Вино позволило мне расслабиться, избавило от навязчивых образов, преследовавших меня, усталость постепенно покидала мое тело. Я чувствовал себя хорошо.

В нашей ложе все болтали, громко смеялись. Но меня это не особенно интересовало, меня это не касалось. Мне было хорошо, вот и все. Скрипки, гитары, балалайки. Люди распевали хором, хлопали в такт в ладоши.

Русские народные песни, которые обычно пробуждали во мне самые грубые инстинкты и доводили до иступления, сегодня меня почти не трогали. Разбитая посуда, драки. Это было где-то там, очень далеко... Каждый мог развлекаться так, как ему нравилось.

В ложе справа американский офицер просил сыграть на аккордеоне мелодию *Stars and Stripes*. В ложе слева канадский офицер, огромный, как боров, стрелял из револьвера по потолку. Хорошо, очень хорошо. Все наслаждались так, как могли. Мои приятели по ложе подтолкнули меня к краю, чтобы показать сцену...

Зачем? Ах да! На сцене майор Робинсон, милый, розовощекий, само достоинство, — майор Робинсон танцевал джигу. Самый страстный, самый необузданный танец в мире. Из одежды на нем был только шотландский килт длиной чуть выше колен, а под килтом — ничего, голое тело.

—Он делает это каждый вечер, каждый вечер, — объяснили мне мои компаньоны. — Когда изрядно выпьет.

Чтобы показать, что он истинный шотландец, несмотря на то, что имя у него отнюдь не шотландское.

—И он абсолютно прав, — произнес я.

Здесь все были правы. Каждый знал, что ему делать, и делал это без стеснений и раздумий. Здесь все были друзья. Я пил, только чтобы поддержать это благодное состояние. Оно длилось и длилось...

Как и почему сработал внутренний щелчок, который, как в эскадрилье, напомнил мне, что пора вставать уходить, поскольку утром меня ждало задание? Я даже не взглянул на часы. Погрузка. Отметки в списке. Фанг и его кули. Я отправился на склад.

С тех пор каждую ночь я проводил в «Аквариуме». Чтобы делать это, мне не надо было задаваться вопросами, что-то решать. Просто так было. На все времена.

Накануне, в кабаре, я изнемогал от усталости и многочисленных возлияний, но ярость, буйство, возмущение против здравого смысла, меры, благоразумия, что царили здесь, так и не поразили меня. Но они отвечали самым сильным инстинктам, о которых многие здесь еще помнили.

На следующий день, едва переступив порог, я отдался их власти. Во Франции я никогда не ходил в ночные клубы. Слишком юный возраст, война, отсутствие денег. Чтобы узнать, что такое ночные клубы, мне пришлось оказаться в Сан-Франциско. Сколько их было! Слишком много. Все было как во сне. Ломаный английский, новые танцы, неизвестный джаз, марка героя, которую приходилось держать. Все это было исполнено фальши.

В то время как в «Аквариуме»!

Швейцары, охотники, официанты, метрдотели, музыканты, артисты — все в заведении говорили на моем родном языке. Я был одним из них.

Но также я был и одним из тех офицеров, кого, со всех уголков света, привели сюда смертельные игры

А эта музыка, отзывавшаяся в самых глубинах моей души, эти слова, каждый слог которых я понимал, эти песни о радости дикой, полной отчаяния, радости безграничной и мучительной, — эти песни уже давно стали частью меня.

Владивосток, 1919 год. Зов джунглей.

«Аквариум». Мой первый русский ночной клуб.

В силу обстоятельств очень быстро и незаметно пришла рутина: с раннего утра до наступления темноты — кули Фанга; потом место расквартирования — два-три часа на сон; наконец, «Аквариум», а из «Аквариума» напрямик к Фангу и его кули.

Как мне удалось жить в подобном режиме в течение многих недель? Я и сам до сих пор задаюсь этим вопросом. Тем более что я не мог оставить и на полчаса свою работу надзирателя, счетовода и кассира.

Милан, введя меня в курс дела, оставил меня и занялся своими делами. И весь день, в фуражке, ботинках, со знаками отличия, наперевес с сумой, набитой миллионами, я ходил от одного склада к другому, от вагона к вагону, по территории, пересеченной бесконечными рельсами, под небом, исполненным отчаяния. Следом за мной волочились шестьдесят китайских носильщиков, едва прикрытых одеждой, грязных, покрытых слизью и гноем.

Очень часто, надо это признать, мои силы были на исходе. Тогда я себе говорил: «Держись... Держись. Еще несколько часов, и ты отправишься в «Аквариум».

Эта мысль придавала мне силы. Настоящий наркотик. Как всякий наркотик, эта мысль становилась с каждым днем все коварнее, с каждым днем мне требовалась все большая доза. Я не контролировал больше количество выпитого, как не контролировал внезапные смены настроения. Я был то другом, то врагом всего человечества. Объятия. Ссоры. Безумная, безрассудная радость. Запах смерти.

А канадский капитан стрелял в потолок прямо у себя над головой просто потому, что ему хотелось гипсового душа. Майор Робинсон выплясывал непристойную джигу. Русские рыдали, разрывая на мелкие кусочки банкноты. А мне все больше нравилось бить вдребезги бутылки и бокалы, мне нравился восхитительный звук стекла, разлетающегося на мелкие кусочки.

Однажды я встретил Боба, с ним была женщина, изящная, хрупкая, с длинными светлыми волосами. Они сидели одни, в глубине ложи, и держали друг друга за руки. Я вспомнил о слухах, что ходили в эскадрилье о его увлечении. Его охватило страстное, возвышенное чувство к жене или любовнице — этого никто точно не знал какого-то офицера и высокопоставленного чиновника, постоянно находящегося в разъездах.

Я поднялся к ним в ложу с бутылкой шампанского, наполнил три бокала, поднял свой, выпил и разбил его. Ни она, ни он не притронулись к своему. Боб даже не протянул мне руки. Я был груб, зол и пьян. Мне пришлось вспомнить о подвиге Боба, о наших кутежах в Калифорнии, чтобы не разбить бутылку о его

голову.

Я хотел, чтобы мой уход выглядел достойно, но при этом был исполнен иронии. Я встал по стойке смирно, отдал честь, как на параде, и сказал: «Мое почтение, господин лейтенант». Затем, как положено, повернулся и присоединился в ярости к вакханалии.

Сколько удивительных ночей, уже позже, во времена белой эмиграции, провел я в барах, бистро, клубах, погребках и русских кабаре, которых было бесчисленное множество в Париже, от Монмартра до Монпарнаса. Здесь можно было послушать самые знаменитые цыганские ансамбли из Санкт-Петербурга и Москвы, увидеть адмиралов-швейцаров, князей-поваров, а в гардеробе встретить княгинь. Да. Сколько ночей... Но ни одна из них не может сравниться с ночами в «Аквариуме».

Сотни иностранных офицеров, юных, полных сил, отделенных тысячами километров от того, что им было знакомо и дорого, обреченных на выполнение бессмысленной и никому не нужной миссии, в мрачном городе, получали двойное, а то и тройное жалованье и не знали, куда потратить эти деньги. Где, как не здесь, могли они найти забвение и убежать от реальности?

А русские, пусть это и избитая мысль, но вряд ли я сумею сказать лучше, — они жили словно на вулкане. Это — последние оргии перед крахом их мира. Миллионеры-коммерсанты из Сибири, спекулянты на черном рынке, генералы, полковники, высокопоставленные чиновники-взяточники, беженцы, обменявшие на деньги драгоценности и камни, спасенные при бегстве. Они чувствовали, даже если отказывались признать это, все они чувствовали, что предначертанный конец приближается. Уже красные партизаны проникли в порт, пытались захватить предместья.

И вот рекой лились водка, кавказские вина, виски, шампанское.

Пьяные голоса тянули *Марсельезу*, «*Боже, Царя храни!*», *Stars and Stripes*, *God save the King*.

А еще, еще — *nom de Dieu*¹³, *damn it*¹⁴, черт возьми, *damn it* — выпить, быстро, выпить, выпить.

Вдруг гам стих. Все знали почему. Одна из артисток вышла на сцену. Одна из певичек «Аквариума», естественно. Они выходили на подмостки только радо того, чтобы показать свои прелести.

Из тех девиц, что можно видеть в свете фонарей ночью в подобных

¹³ Черт возьми! (франц.)

¹⁴ Черт возьми! (англ.)

заведениях по всему миру. Но где и как хоть одна из них могла бы вкусить славу и триумф, выпадавшие на долю этих якобы певиц и танцовщиц, которых сюда гнал безумный ветер всеобщей паники, бушевавшей по всей Транссибирской магистрали? Прежде чем оказаться во Владивостоке, они успели побывать в кабаках, дешевых гостиницах и в борделях.

Где, как не на этой проклятой сцене, на краю самого большого континента, могли они найти такое количество молодых мужчин, сильных, пылких, праздных, потерявших голову, с набитыми до отказа карманами денег? Столь редкая добыча!

Офицеры из иностранных миссий не имели права во Владивостоке приближаться к так называемым честным женщинам. Женщины из приличного общества жили взаперти. Встретить их можно было только среди «хороших» людей. Что касается простых людей, то незнание обычаев и языка делало сближение невозможным. И высочайшее распоряжение запрещало всем женщинам появляться на пороге «Аквариума». Для одних — разве что только одна ночь, случайная, проведенная тайно в глубине ложи, как то позволила себе любовница Боба, — запретом было «что скажут другие». Для других это была немыслимая трата денег.

Конечно, «Аквариум» был не единственным ночным заведением Владивостока, где были танцовщицы. Но только владельцы «Аквариума» имели средства оплачивать и содержать труппу, лучшую из лучших. У них это настолько хорошо получалось, что на одну девушку, одну-единственную, приходилось тридцать, сорок, а то и пятьдесят парней.

Все здесь было извращено. Самое обычное желание, вполне естественное, превращалось в навязчивую идею, обретало силу страсти, патологической одержимости. Обнаженные шеи и руки, яркая губная помада, легкий смех. Все говорило и кричало: секс, секс, секс. Но этому вожделению, доведенному до крайности, нельзя было поддаваться.

Требовалось обуздать в себе животное, подавить дикое разнузданное желание. Иначе прощай всякая надежда, а кто-то другой мог получить все. У всех были деньги, даже слишком много, чтобы заплатить. В этом месте деньги не имели ни ценности, ни смысла. Речь шла не о том, как в других заведениях подобного рода, чтобы купить девушку, увести ее и удовлетворить желание. Надо было понравиться.

Мне бы не хотелось бросаться словами. Но я действительно уверен, что ни одна принцесса при своем дворе не получала от своих верных рыцарей столько знаков внимания, перед ней не раболепствовали и не относились к

ней с такой предупредительностью и почтительностью, как поклонялись здесь этим женщинам, чье низкое происхождение так и бросалось в глаза.

Дочери голодных мужиков, рабочих и портних с мизерной зарплатой, прислуги, с которой обращались, как с рабами, вдовы солдат, взятых в плен или погибших, они исчислялись миллионами, они прошли все круги ада. Отвратительные постоянные дворы, подозрительные кафешантаны самого низшего разряда. Дома терпимости.

Волна разгрома вырвала их из родных городов и предместий и понесла прямо к океану, этап за этапом: проходные гостиницы, кабаки, бордели.

Были ли они хоть немного красивы? На свой лад да!

Еще не пришло время русских эмигранток, богатых от рождения, молодых, ухоженных, образованных, утонченных и слегка безумных, им только предстояло заполнить бары и танцполы Дальнего Востока. Революция свершилась совсем недавно.

А пока проституция была уделом девушек из народа, самых бедных. Они унаследовали выносливость, покорность судьбе, терпеливость, свойственную народу. Все это пригодилось, чтобы пережить голод, холод, болезни, бессонные ночи, попойки и побои, короче говоря, чтобы выжить во время бойни, где и для мужчин, и для самой жизни они были всего лишь безжизненными куклами.

Самые сильные из них, самые стойкие сохранили, вопреки всему, удивительный внутренний свет. Ничто и никто не заставит склониться эти гордо поднятые головы, длинные тяжелые шеи, не сможет иссушить и лишит свежести упругую гладкую кожу. Понять, что им пришлось пережить и выстрадать, можно было только из их улыбок, полных безразличия и усталости, которые они столь щедро расточали всем присутствующим.

Кроме того, в большинстве своем они были глупы, плакали и смеялись как маленькие дети. Их чувства были столь же грубы, как и их речь.

Казалось, что столь невероятный поворот в их судьбах одарил их гордостью и принес им радость. Ничего подобного. Всемиловитый Господь (верили они в Бога слепо и безраздельно), всемиловитый Господь слишком поздно преподнес свой дар.

Как могли они понять, что с ними случилось? Принять ход событий? Эти военные из другого мира, варварский язык, давка, чтобы прикурить сигарету, стулья, которые вырывали друг у друга, чтобы им подать, страстные взгляды, но ни одного лишнего движения.

Что все это значило? Что они не желали их? Или что девушек не хватало

на всех? Но тогда тянут жребий, соревнуются в цене, бьют друг другу морду. Вот что доставляет вам удовольствие.

Они думали о русских унтер-офицерах, наведывавшихся в их кабаки и бордели: «Вот это мужчины. Сразу к делу». С бутылкой под каждой подмышкой они шли за вами, подталкивали вас, тащили в комнату. Затем наступала очередь следующего. Можно было получить удовольствие. Тогда как эти...

Нет, деньги у них водились. Даже слишком много. Да они и не скупились. Совсем. Но в обмен они ничего не требовали. Самое большее — обещание. И деньги теряли и вкус, и свое назначение.

Девушкам не хватало воображения, которое помогло бы им представить и обеспечить свой завтрашний день. Жадные, но только до еды да до денег, чтобы заплатить за жилье, купить себе тряпки и прогуляться. Случалось, что подолгу у них не было ни крошки во рту, ни жилья. Но когда они заработали, заслужили свой хлеб и кров над головой, они чувствовали себя спокойно, легко и счастливо.

Это похоже на качели, которые взмывают в воздух. Обсуждали цены, торговались о цене за вход. Рубль, а сверх того пригоршня монет — победа! Победа! Сейчас деньги не волновали и не радовали, они были долгом, десятиной. Они не слушали этих иностранцев. Нет, они им не нравились. Что же они представляли собой в постели!

Мне было не трудно понять этих девушек. Они сами мне все рассказали. Нас столько объединяло: язык, еда, русские праздники. Я знал названия рек и мест, откуда они родом. Они знали об Оренбурге, моем родном городе. Мы делились воспоминаниями.

Они освобождались, отдыхали от навязанной им роли. Когда девушки королевской поступью переходили из одной ложи в другую, они всегда останавливались рядом с моей, где я сидел со своими случайными приятелями или знакомыми. Они подзадоривали музыкантов оркестра. Особенно тех, что играли на аккордеоне и балалайке.

В этих музыкантах было что-то дьявольское. Как бы пьяны они ни были, если они чувствовали, что хоть один аккорд вызывает отклик у слушателей, то они позволяли своим демонам вырваться наружу.

«Аквариум» менялся. Стиралась потрескавшаяся позолота, исчезали обезображенный потолок, грязные скатерти, пьяные лица, стихал глупый шум, прекращались безумные кутежи. Поскольку сильнейшие инстинкты, мощные, пожирающие изнутри, животные и не нашедшие удовлетворения, сводившие с

ума добрую половину этих мужчин, эти инстинкты становились музыкой и удивительными песнями, полными радости, огня, любви и муки, рожденными на бескрайних просторах, в тени темных лесов, под свободными ветрами степей, в аду льдов, вдоль нескончаемых рек.

Музыканты пели. Пели и танцовщицы, ставшие вдруг прекрасными, преобразившиеся, вдохновленные. Внизу, из-за столиков, где сидели русские, поднимался хор голосов. Пили стакан за стаканом, бокал за бокалом, не понимая, не осознавая, погружаясь в ритм этого пения.

И пока звучали аккордеон и балалайка, власть алкоголя ослабевала, словно все было зачаровано.

Но зато потом какой реванш! Крайности, беспутство, истерия. А в этом веселье тоска, умиление, злоба, желание. Танцовщицы не думали больше о том, как им стоять. Пьяный смех, хлопки по бедрам, распущенные тяжелые волосы — бесстыдницы из подозрительного заведения.

Иностранцы забывали о своей сдержанности. Смелость, бесстыдство их рук говорили о раскаленном добела желании. Девушки отталкивали их с громким смехом и невероятными ругательствами, многое обещали взглядом, позволяли себя целовать, а потом исчезали из лож.

Неуверенным шагом они выходили в зал, где чаще всего усаживались за столик какого-нибудь богатого бородатого торговца, грубого и надменного. Он уводил с собой и девушек, и музыкантов, прихватив ящик шампанского.

Моим приятелям нечего было терять или выигрывать. Поэтому они напивались до полусмерти.

Со мной все было иначе. У этих женщин я пользовался большим успехом. Но не тем успехом, который мне приписывали и который вызывал зависть моих товарищей. Эти женщины любили меня, действительно любили. Из-за моей юности, моей еще не загрубевшей чувствительности, из-за того интереса, который я выказывал к их историям, из-за того, что они мне доверяли. Далеко это не заходило. Напротив. Я был их грезой, их младшим братом.

Деньги? Им стало бы стыдно и за них, и за меня. Если бы я настоял, то они пошли бы у меня на поводу, как мне кажется. Из нежности и милосердия. Но мне это было не нужно.

Может, я был слишком юн? Не совсем так. Они не прельщали меня, если быть честным. Я слишком хорошо их знал. Мечта, тайна, побег из реальности, которые наполняли подобного рода авантюры, — ни на мгновение девушки из «Аквариума» не могли подарить мне такую грезу. А физическое желание, едва оно во мне зародилось, как я тут же излечился от него после того, как

несколько раз мне довелось пить натошак чай в их комнатах. Здесь все было грязным: сама комната, мебель, неубранная постель, простыни и белье — повсюду грязь. И запах...

Так что ни я, ни они — мы не испытывали сексуального влечения друг к другу. Да и занятие девушек не способствовало отдыху, а я валился с ног от количества выпитого и бессонных ночей, а еще эти кули...

Ведь погрузка вагона продолжалась... Только по мере того, как окончание работ приближалось, мне, кроме всего прочего, надо было найти еще двух человек и подкупить и их тоже: начальника поезда, который согласился бы прицепить вагон к эшелону, и машиниста, согласного на лишний груз.

Так проходили дни и ночи. Физическая и моральная усталость дошла до предела. Встряска вином, песни. Вялотекущая дружба с танцовщицами.

Своих товарищей по эскадрилье я почти не видел. Боб был полностью поглощен своей любовницей. Капитан и несколько элегантных офицеров были вхожи в высшее общество Владивостока. Другие или выполняли глупые задания (самолеты все еще не прибыли), или интересовались незначительными событиями, что происходили в эскадрилье, обедами в офицерской столовой, игрой в манию и пике.

Иногда некоторые из них появлялись в «Аквариуме». Но что самое странное, среди них не было ни молодых, ни склонных к приключениям. Все они были из нелетного состава, офицеры из управления, врач, казначей. Им было уже за тридцать. Женатые, да и дети есть. Нет, никаких глупостей они не совершали... Но все-таки мираж, потребность забыться влекли и их тоже. Мы пропускали вместе по стаканчику. Говорили.

Правда, говорили они всегда об одном и том же: сколько еще недель и месяцев пройдет, прежде чем мы отправимся на родину. Они наводили на меня тоску. Как самый молодой, я должен был бы уехать последним. Я возвращался в «Аквариум», который так и остался для них чужим. К пьянкам, аккордеону, балалайке и девушкам. Я не хотел больше ни о чем думать, как не хотел ничего слышать.

А потом появилась новая артистка.

Девушки предупредили меня об ее появлении. Но когда я увидел ее в первый ее вечер, я и подумать не мог, что это она. Что общего у нее было с другими? Такая юная, маленькая, худенькие плечи, прикрытые шалью, она сидела одна за столиком, самым отдаленным, самым незаметным, обхватив себя руками, она смотрела прямо перед собой, во взгляде читался неприкрытый ужас.

Я поинтересовался у официанта. Да, да, это новая артистка. Звали ее Лена. Но я все еще сомневался. Чтобы мои сомнения окончательно развеялись, я должен был увидеть, как она поднимается на сцену и готовится петь.

Не только меня грызли сомнения. В зале долго и зло перешептывались. «Как, — говорил этот шепот, — кого нам хотят представить, нам, завсегдатаям, постоянным клиентам, знатокам, нам хотят представить вот это... Тощее тело, спрятанное под темным платьем, лицо со впалыми щеками, безумный взгляд, словно она никого не видит...»

А потом, потом, всего несколько минут спустя, по залу вновь пошел шепот, но уже иной. В нем было не только удивление, но и ноты похвалы, даже признательности.

Ее голос, глубокий, сильный, полный какой-то невыразимой скорби. А ее песня отличалась от тех песен, что все здесь привыкли слушать. Она пела народную песню, старинную и очень медленную, очень простую, но каждое слово которой оставляло в сердце след, как камешки, которые бросают в спокойную гладь воды, и вода приходит в движение, круги за кругами, волна за волной.

Затем никто не хлопал, не произнес ни слова. Лена снова вернулась за свой одинокий столик — никому и в голову не пришло присоединиться к ней или пригласить ее.

Вновь раздался гвалт, еще более сильный и алчный, чем обычно, требующий, чтобы его потопили в спиртном. Люди мстили за песню.

В нашей ложе сидели две танцовщицы, обычно снисходительные ко всем и вся, я считал их своими верными подругами. Они почти набросились на меня, шипя:

—Ты смотрел на нее, ты на нее смотрел... Почему ты так на нее смотрел?

—Она великолепно поет, — ответил я.

Тогда они стали говорить, то перебивая друг друга, то одновременно, говорили с ненавистью, со злостью... Да, хорошо, хорошо, пела она неплохо, да, неплохо, это правда. Но разве это оправдывает ее гордость и надменность? Они приняли ее словно подругу. Хотели объяснить ей, кто из посетителей был особенно щедр и как вести себя с ними... И наверно, она не прислушалась к ним, не поблагодарила? Нет. Для нее они не существовали.

А потом она выбрала этот столик, за которым никто и никогда не сидел. Неплохо, мадам.

Девушки перегнулись за выступающий край ложи и закричали:

— Иди сюда! Иди быстрее! Василий собирается ее пригласить.

Василий был управляющим, невысокого роста, очень толстый, с внушительными мускулами под слоем жира. Я видел, как он одной рукой выбрасывал на улицу пьяниц, представлявших опасность, как тяжелой пощечиной приводил в себя танцовщиц. Он что-то шептал на ухо Лене, положив руку ей на затылок.

— Он хочет, чтобы она села за чей-то столик, а она отказывается, — говорили девушки. — Если она не пойдет сама, то он потащит ее силой. Дура! Она его не знает... Вот увидишь, вот увидишь...

Ничего я не увидел. Лена села за столик рядом с тремя бородатыми торговцами с лицами и манерами празднично одетых мужиков. Одна из моих знакомых сказала мне срывающимся голосом:

— Они просят ее спеть... Уже подали знак Сереже.

Сережа — это пианист. Он начал играть ту же мелодию. Из ложи я не мог видеть лица Лены, но я видел ее спину, прямую, натянутую, словно струна, которая вот-вот лопнет. Однако когда она запела, в ее голосе было столько же силы, чистоты и боли, как и в первый раз.

Торговцы слушали ее, склонив обхваченные руками головы. Потом они налили ей шампанского. Она отказалась.

— Что она о себе возомнила? — шептались другие девушки. — Она здесь для того, чтобы пить самой и делать так, чтобы пили другие. Только для этого она и нужна. Как все остальные. А, смотри!

Подошел Василий. Лена подняла свой бокал и выпила его залпом. Потом второй, третий... Торговцы пришли в восторг, в полное изумление. Возгласы восхищения. Стук каблуков по полу. Хлопки по спине. И они запустили руки в карманы. Лена оставила столик и вышла из зала.

Одна из девушек побежала, чтобы разузнать новости. Возвращаясь, она качала головой, пожимала плечами, бормотала что-то себе под нос. Она была в растерянности. Торговцы отправили Лене поднос, усыпанный рублями. Василий забрал себе половину и разрешил Лене на этот раз покинуть зал.

Лена не имела большого успеха. Нравилась она только русским. Иногда это были грубые князьки от торговли. Иногда одинокий мужчина с глазами, полными отчаяния.

Но в эти моменты шампанское и деньги расточались столь щедро, что все заметили, как Василий проникся чем-то вроде уважения к Лене. Пила она много, но почти не менялась. Разве что иногда она выкрикивала очень грубое ругательство или делала что-нибудь вызывающее, лихое.

Иногда она присаживалась рядом с мужчиной, которого только что оскорбила, и страстно целовала его в губы. Иногда она уходила с ним.

Я наблюдал за ней издалека. Чтобы внушить любовь, она была мало привлекательна. Но во всем остальном ее гордость, резкие смены настроения меня пугали и смущали. Она не была похожа ни на одну девушку. Ее голос волновал. В этом заведении она была интересным, редким, интригующим объектом для наблюдения. Но на расстоянии.

Вагон был загружен, опечатан и прицеплен к товарному составу. Но со следующего утра мне предстояло начать новые поиски. Трудности, смертельная тоска, кули, взятки — для чего все это было нужно, черт возьми! Для чего? Не исключено, что в Чите, благодаря полковнику без ноздрей или другому своему бандиту, Семенов захватит наш вагон. Для кого я работал? Для атамана.

Я вышел из саней у «Аквариума» в самом ужасном расположении духа.

В углу, под портиком, стояла какая-то женщина. Ее лицо периодически освещалось клубами табачного дыма. Я узнал Лену.

Когда прошел рядом с ней, она неожиданно меня спросила:

— Это правда, как все говорят, что ты очень хорошо говоришь по-русски?

Она сделала ударение на «ты», здесь был и вызов, и усилие.

— Вам сказали правду, — ответил я.

Но я никак не выделил голосом «вы». Лена подошла ко мне так близко, что ее зажженная сигарета чуть не обожгла мне веки.

— К чему это ваше «вы»? — спросила она со злостью.

Я сказал, что ничто не позволяло мне проявлять в отношении нее фамильярность. Я видел ее издалека и знал о ней только то, что она поет.

Какое-то время она колебалась, а потом сразу, на одном дыхании проговорила:

— Вы не смеетесь? Во Франции так принято обращаться ко всем, ко всем людям?

«Люди», «ко всем людям» она произнесла эти слова шепотом.

В ее шепоте не было ни жалобы, ни упрека, а только безграничное удивление. Страна, где к мужчинам и женщинам, голодным, выполняющим тяжелую работу в поле, в мастерских, на фабриках, в шахтах, ко всем мужчинам, ко всем женщинам с мозолистыми, безобразными руками — к ним обращались как к богатым, офицерам, чиновникам, полицейским? Тогда как здесь...

Лена глубоко вдохнула и сказала:

— Мне нужно на воздух. Внутри просто нечем дышать. На сцену мне еще не скоро, мы могли бы немного прогуляться.

Я согласился.

Какой-то пьяница, весь в лохмотьях, едва стоявший на ногах, навалился на меня и осыпал меня отборнейшей бранью. Я инстинктивно ответил ему тем же. Я тут же подумал о Лене, захотел извиниться. Немного удивленная, она не дала мне произнести ни слова.

— Ах, оставьте. Мне часто приходится слышать подобное, я и сама могу иногда...

Затем она рассмеялась, но это был невеселый смех:

— Это лишь доказывает, насколько глубоки ваши познания в русском, настоящем русском языке.

Я хотел ей рассказать о том времени, когда я жил в Оренбурге. Обычно это вызывало любопытство и интерес.

— Нет-нет! — воскликнула Лена. — Я знаю, знаю Россию. Расскажите мне о Франции, о Франции!

Мы шли вдоль Светланской, по неровному разрытому тротуару, от фонаря до фонаря, грязный свет прорезал туман. Пьяные мужчины и женщины, поддерживая друг друга, выходили из кабаков, распевая во все горло песни, выпрашивая милостыню.

Время от времени со стороны порта раздавались выстрелы, приглушенные расстоянием и туманом. Красные.

Облака почти касались земли. Было холодно и сыро. Лена подбадривала меня, торопила. Париж... Какая там жизнь. Я рассказал обо всем, что видел там до войны. Мои родители. Их друзья. Сорбонна. Латинский квартал. Мои друзья по университету. Люксембургский сад. Кафе. Богема.

Когда я умолк, Лена после недолгого тяжелого молчания сказала, подняв голову к нависшим тучам:

— Младше меня... А столько видел, столько видел, и такое, такое будущее...

Она отпустила мою руку и пошла одна. Нас разделяло большое расстояние. Она, как обычно, смотрела прямо перед собой. Так мы и дошли до «Аквариума».

Она пригласила меня. За свой столик. За тот, за который никто не хотел садиться. Попросила принести графин белой водки, подкрашенной травой желтого цвета, крупные малосольные огурцы, черный хлеб, селедку, колбасу и

сыр.

— Ешь, ешь, — повторяла она с плохо сдерживаемым волнением. — Так у нас было в праздничные дни. Не так много и не так часто. Но чем реже, тем лучше. Тогда как здесь, сейчас...

Она почти не притронулась к еде, но выпила много мутной водки. Ее глаза смотрели куда-то вдаль, она рассказывала и рассказывала. Свою жизнь... всю свою жизнь.

Она была родом из Омска. Ее отец, плотник первого разряда, получал приличное жалованье в большой мастерской, где он работал. Он не пил, любил свою семью. Но этого было недостаточно: у Лены было пятеро старших братьев и сестер. Мама подрабатывала домработницей. В семье появилось еще трое детей. Лене исполнилось двенадцать лет, когда она начала работать.

Знакомая портниха взяла ее в ученицы. У нее были умелые руки, ей нравились красивые ткани — она быстро освоило ремесло швеи. Днем хозяйка отправляла ее работать в богатые семьи. Кормили ее плохо, да и платили очень мало. Но время шло, она научилась шить юбки, блузки, настоящие платья, которые нравились. Ее стали приглашать во многие дома. Денег она зарабатывала больше. И подумывала о том, чтобы начать работать только на себя.

— А как же пение? — спросил я.

— Какое пение!

В ее взгляде вновь промелькнули боль и ненависть.

— Да, мне нравилось петь, все говорили, что у меня хорошо получается, что у меня прекрасный голос. И что с того? К чему все это? Вы можете мне объяснить? Петь, не имея образования?

В последнее слово она вложила всю силу своей мечты, любовь, сожаление и отчаяние. Уже позже я не раз ощущал эти чувства в голосах многих бедных юношей и девушек. Лена смотрела на сцену «Аквариума». Там пела высокая, дородная, красивая артистка. Никудышный вокализ. Глупые слова. Двигалась она, словно огромная механическая кукла.

— Вот оно, ваше пение, — сказала Лена. (Стакан водки, потом еще один.) Все это случилось, потому что однажды на пороге клетушки, где я работала, появился он.

Он, Федор, красивый капитан из Генерального штаба Колчака.

Ну что ж, надо было покориться ему. И так началась самая избитая история. Жалкий фельетон, один из тех, что интересны консьержкам. Тут я ничего не могу поделать. Это не первая подобная история, придуманная самой

жизнью. И далеко не последняя. Здесь было все. Очаровательный принц, жестокий соблазнитель и юная белошвейка.

Сначала они встречались в большом саду семейного особняка. На дворе стоял август. Деревья, зеленая листва, цветы и птицы. Он снял любовное гнездышко. Она ни о чем не жалела, ничего не стыдилась. Разве можно стыдиться, когда вы так счастливы и просто не верите, что такое счастье могло прийти именно к вам.

Зря она пыталась убедить саму себя, что, наверное, он и правда ее любит. Да, он ее любит, она вынуждена была это признать. Подарки, цветы. Внимание, бесконечные комплименты. Он обожает ее голос, ее глаза.

А как же родители? Она придумывает дополнительные часы. Деньги, которые она якобы зарабатывала, — эти деньги давал ей Федор. Дома мама слишком довольна, слишком измотана, чтобы хоть что-то заподозрить.

Это восхитительное безумие продолжалось три месяца.

И вот капитана отправляют во Владивосток. Это его угнетает. Он из Омска, крупного города, столицы Сибири. Он — любимец высшего света, званых ужинов, больших балов, гала-представлений в театре. Оставить все это и отправиться в отвратительную провинциальную дыру, где можно умереть с тоски! Он ходит взад и вперед по комнате. Звон шпор раздается по паркету. Вдруг он расхохотался.

И как это не пришло ему в голову? Он возьмет Лену с собой! Вдвоем будет гораздо веселее.

Она перекрестилась. Еще мгновение назад ей казалось, что наступил конец света. Теперь мир спасен. Волшебная сказка продолжается.

Транссибирская магистраль. Шикарный вагон, а в этом вагоне у них самое дорогое, самое красивое купе. Шампанское льется рекой в течение всего путешествия.

Почтительные поклоны контролеров, небольшие услуги всецело преданных начальников поезда.

Владивосток.

Все складывалось удачно. Люди Колчака подготовили для его адъютанта довольно сносное жилье. Домой он возвращается все позже и позже, это правда, но всегда в прекрасном настроении, влюбленный, с бутылкой прекрасного вина под мышкой.

Близится Рождество. Она хочет поставить в доме елку, украсить ее свечами. Говорит ему об этом, просит позвать к ним друзей. Он обнимает ее с нежностью. Увы, это невозможно. Он выполнил то, что ему было поручено.

Или почти выполнил. Но все уже в порядке. Нужно только подождать. Родители ждут его, вне всяких сомнений, на праздники. Она должна его понять. Он видит, что она понимает.

Хочет ли она вернуться в Омск вместе с ним? О да, конечно! Да. Она уехала, не сказав никому ни куда, ни с кем она отправилась. Да, да. Родители бедные, но честные. Мама может умереть от горя. Папа будет в ярости. Да, соседи. Семьи, в которых она работала. Да, да.

Ну что ж, не стоит об этом говорить. Она устроится во Владивостоке, он уверен. В этом городе гораздо больше возможностей, чем принято думать. Она умеет шить, петь. А пока она ищет работу, она может ни в чем себе не отказывать. Он позаботится о самом необходимом, от всего сердца.

И его умчал поезд по Транссибирской магистрали.

Он никогда ничего ей не обещал. Это правда. Он нашел для нее довольно приличную комнату у очень хорошей женщины, заплатил за три месяца вперед. И оставил ей много денег. И это правда. Сказать ей нечего. Нечего.

И вот. Все в духе произведений «Святая мученица»¹⁵ или «Невинность и позор»¹⁶, это было просто непревзойденно. Есть от чего умереть со смеху. Но когда слышишь такую историю в «Аквариуме», рассказанную бесстрастным монотонным голосом, на едином дыхании, поскольку малейшее изменение интонации, любой отголосок чувства могли разрушить ее. Когда перед вами сидит такая хрупкая девушка, что ей едва можно дать шестнадцать лет. Когда вы знаете, что она ничего уже не ждет от этого ужасного мира, которая держится исключительно благодаря несломленной гордости, — ей нужно было, отбросив гордость, рассказать о никчемном романе просто потому, что при знакомстве к ней обратились на «вы». Тогда и дорогой эстет, и образованный человек, который живет в каждом из нас, выглядят хорошо.

Я продолжаю слушать. Мелодрама продолжается.

По законам жанра, любовник научил Лену пить. Она пьет много. Даже слишком много. Деньги? У нее никогда их не было. Считать она не умеет. Деньги, что оставил Федор, стремительно исчезали, испарялись. И вот она на мели.

Выход: ее комната. Комната была в ее распоряжении еще один месяц. Она попросила вернуть ей деньги и ушла. Можно догадаться, что за гостиница стала ей приютом.

¹⁵ «Теодора, святая мученица», трагедия Пьера Корнеля.

¹⁶ Роман Дельфи-Фабриса.

Собирая свои пожитки, она нашла конверт, на котором красовался герб. Внутри оказалось письмо, Федор оставил его на случай необходимости для некоего Василия. Она отправилась к нему.

Василий был сама любезность. Конечно! Конечно! Ваша честь, капитан, Ваше превосходительство, господин граф... Такой хороший клиент. Такой щедрый барин. Конечно же! Конечно! Так рад заполучить артистку, которую его честь, его превосходительство ему рекомендует.

Когда Лена замолчала, графин с желтой водкой был совсем пуст. Я хотел позвать официанта. Но она отказалась нетерпеливым жестом и подала знак Василию, что собирается выйти на сцену.

Едва она запела, как я уже был уверен, что она никогда прежде так не пела и никогда больше не исполнит свою песню вот так. Она отбивала такт, пела очень медленно, растягивая слова. Это напоминало звон цепей на ногах каторжника, от которых ему не избавиться до конца жизни.

Только сегодня ночью в каторжников превратились все посетители. Я мог бы подумать, что до сих пор нахожусь под впечатлением от только что услышанного рассказа Лены, но я видел на лицах людей, не имеющих ни чего общего со мной, страх, он сближал их, связывал их зловещим образом. Каждый из них слышал, как стонет отчаяние.

За столик Лена не вернулась. Вместо того чтобы спуститься, как обычно, со сцены в зал, она проскользнула в маленькую дверь и вышла на улицу.

От этого мне стало легче. Свою порцию драмы я получил. Я рад был вернуться к моим старым привычкам, оказаться в знакомой ложе среди пьяных друзей, слушать бесконечные глупости танцовщиц. Мои приятели зло высмеяли мою победу, а девушки меня не замечали. Я выпил. Постепенно все теряло свое значение. Тем более Лена. Только это мне и было нужно.

На вокзал я пришел из «Аквариума» в очередной раз в состоянии, близком к состоянию зомби. Мне надо было прийти в себя. Все шло наперекосяк. Такие дни случаются.

Люди, чью работу я уже оплатил, исчезли, их место заняли другие, я их не знал: мне снова надо было взяться за ненавистную мне работу по раздаче взяток. Один из кули сломал себе шейный позвонок. Фанг кричал на меня, я не понимал почему. Падал снег и тут же таял, похожий на грязный морозящий дождь.

Ко всему добавлялась усталость, я был вне себя от ярости. Нетерпимый, обозленный, жалкий, агрессивный, я был зол на весь мир. На работников железной дороги, на кули, на товарищей из эскадрильи, которые бросили

меня, на моих сексуально озабоченных приятелей из «Аквариума», на моих подруг танцовщиц, больше не общавшихся со мной.

Вдруг лица всех, на кого я так был зол, слились в одно лицо. Лицо Лены. Она была самой тщеславной, самой лживой, самой ненавистной. Разве не ей я отдал всю мою симпатию, все мое внимание? Сопровождал ее в этой ужасной прогулке? Разве не слушал со всем вниманием ее историю? Страдал вместе с ней? А она просто ушла, исчезла, не сказав ни слова. Немного грусти. Потребность все рассказать кому-нибудь. И тут появляется хороший молодой человек. Такой чувствительный. Верит всему. Спектакль окончен. Так бросим его. Вот так. Глупец. Она приняла меня за простофилю. Ну что ж, она ошиблась. Сегодня же вечером я скажу... Я скажу ей.

В этот момент отвращение, презрение, которые я испытал к самому себе, были столь сильными, что я прижал обе руки к глазам, чтобы не видеть то, что стояло перед глазами: глаза Лены, когда она говорила со мной. В них стояла нестерпимая боль, я слышал ее песню, полную отчаяния. И если она сбежала, то это потому, что ей не хватило смелости, гордости, чтобы нести до конца всю тяжесть ее тайны. Таким образом она наказывала себя.

А для меня — для меня этот бесценный уход, полный горя, был лишь посягательством на мое дорогое самолюбие. Но все могут допустить ошибку, невольно оступиться. Я мог искупить свою вину. Успокоить Лену. Вернуть ей радость жизни. Если бы я знал, где она живет, если бы «Аквариум», где мне могли дать ее адрес, был открыт, я бы бросил работу и помчался бы к ней.

Я привел себя в порядок и надел свою лучшую одежду. Я приехал в ночной клуб, когда там еще никого не было. Я сел за столик Лены.

Василий, управляющий, вышибала, наклонился ко мне и тихо сказал:

— Она не придет, она предупредила меня, что заболела. Дать вам ее адрес?

В моей голове промелькнули сотни мыслей, образов. Больна... одна... в каких-то трущобах... я должен быть там. Больна, одна, без лекарств... Сначала надо купить лекарства... Я был уже на улице.

Привратник! Сани, тройку, лучшую. Плачу хорошо. Извозчик... Гони... Плачу двойную цену.

Место нашего расквартирования. Врач. Аптека — хинин, аспирин, марля, вата, йод, перекись водорода, что еще? Ах да, отвлекающее средство...

— Извозчик, быстрее, гони...

Улочки, переулки, наконец, тупик. В глубине старенький бревенчатый двухэтажный домик. В темноте крыши совсем невидны. Единственный

источник света — грязный, в снегу, фонарь, прикрепленный к двери.

В тусклом свете я различил фигуру мужичка и его седую бороду. Ночной сторож. Я справился о Лене. Он осмотрел мою форму и сказал:

— Девчушка. Ваше благородие говорит о девчушке. К услугам вашего благородия. Я сообщу ей.

— Нет. Проводи меня сейчас же к ней. Понял?

Мне казались само собой разумеющимися и мой тон, и обращение на «ты», которое я позволил себе по отношению к человеку его возраста. К власти быстро привыкаешь. Комната Лены была такой, какой я представлял в своем воображении. Не стоит говорить о размерах, обстановке, грязи в закутке, находившемся на верхнем этаже этого злачного места, затерянного на одной из пользующихся дурной славой улочек Владивостока.

Но Лена не лежала в постели на подушках, хрупкая, трогательная. Она босиком, отрывистым шагом, ходила вокруг сломанного стола, на котором стояла бутылка водки, грязная, початая на три четверти.

Я смотрел на нее из темного коридора, из-за плеча ночного сторожа, отворившего дверь. Комнатенка была столь мала, что Лена была от него на расстоянии вытянутой руки.

— О! Как я рада тебя видеть, мой дорогой дедушка Мороз, — сказала она. — Заходи, выпьем по стаканчику.

Старик отошел в сторону, чтобы я смог пройти, и закрыл за мной дверь. Лена отступила к окну, где вместо стекла была промасленная бумага, и оттуда, согнувшись пополам, чтобы не удариться головой о потолок, она кричала:

— Убирайся, сейчас же убирайся! Убирайся! Это мой дом, слышишь, это мой дом! По какому праву ты? Ты думаешь, что тебе все можно, потому что вчера я рассказала тебе... Убирайся!

Мне стало страшно. Ее голос поднялся до крика. Могло случиться непоправимое. Я пробормотал извинения, согласие. Я так и остался стоять на пороге. Мне достаточно было сделать один шаг, чтобы покинуть комнату.

Когда я собирался уже выйти, я вспомнил о пакете, что был у меня в руках. Я положил его на неубранную кровать с влажными простынями и пробормотал:

— Здесь лекарства. Мне сказали, что ты больна.

Это «ты» казалось мне таким естественным. Но об этом я подумал уже несколько позже. Мне хотелось только одного: уйти. Я повернулся к двери. Мне показалось, что Лена что-то сказала.

Она говорила так тихо, что поначалу я не мог различить ни одного слова.

Потом я понял. Она шептала:

— Подожди... Подожди.

Она медленно, с трудом дошла до кровати. Хотя расстояние было незначительным, ноги ее не слушались. Она попыталась открыть пакет, ничего не вышло. Я открыл его сам.

Она рассмотрела одно за другим все лекарства несколько раз, потом спросила меня:

— Ты пришел, чтобы ухаживать за мной, чтобы помочь мне? После всего, что ты узнал обо мне...

В ее голосе было столько смирения, у жизни нет никакого права причинять боль кому бы то ни было. Я молчал. Лена снова заговорила:

— Ты любишь меня? Любишь?

Мне вспомнилась старинная, очень старинная русская поговорка, или пословица, или слова из песни. Так говорила пропащая девушка:

— Люби меня грешной, чистенькой и невинной меня бы всякий полюбил.

Я повторил эти слова Лене, сам того не сознавая. Она вздрогнула, впервые посмотрела мне в глаза и прошептала:

— Ты знаешь?

Можно было подумать, что я колдун, знающий заклинания. Она осмотрела комнату, посмотрела на свою грязную рубашку.

— Я прошу тебя, пожалуйста, оставь меня. Увидимся завтра, я обещаю тебе.

Она перекрестилась. Я ушел, она не сделала ни шага, даже не пошевелилась.

Мы выехали из очень удаленных друг от друга кварталов, но в «Аквариум» приехали одновременно, минута в минуту. К самому открытию.

Заняли обычные наши места за дальним столиком, казалось, что это стало нашей давней привычкой. А на деле только лишь во второй раз.

Пока мы сидели в одиночестве в зале, к нам подошел Василий. Он принес целое блюдо, усыпанное пирожками с капустой, мясом, с черной икрой, и кавказское вино.

— Надо кушать, — сказал он Лене. — Нет-нет, никаких разговоров. Чтобы петь, нужно есть.

Она подчинилась ему. Мы говорили. Она все больше и только о старом ночном стороже. Когда-то он был солдатом. Отдал службе сорок лет. В молодости он участвовал во многих войнах — против турок. Чуть позже против

японцев. Лена оживилась:

— Это произошло в Порт-Артуре, совсем недалеко отсюда, представляешь.

Учитывая расстояния, какие были в Сибири, это было почти рядом. В Японии старик попал в плен. Он до сих пор переживает поражение России из-за царя. Он его очень любил.

Я спросил у Лены, почему она называет его Дедушка Мороз. Из-за его накидки, его бороды? Нет, не поэтому. Нет... А потому, что на Рождество он пригласил ее в подвальчик гостиницы, что был ему пристанищем.

Зал, партер, ложи — все было заполнено. Все девушки исполнили свои номера. Настал черед Лены.

Вместо привычного черного платья на ней сегодня было узкое платье из красного шелка, украшенное маленькими звездочками, она сама его сшила, похвасталась она мне. Новая песня была столь же проста и печальна, но в ней сквозила едва заметная нежность.

Несколько минут спустя после того, как Лена сошла со сцены, она захотела поехать домой. На лбу и носу у нее проступили капельки пота. Я подумал, что у нее поднялся жар.

— Нет, — произнесла она. — Просто со вчерашнего вечера я не брала в рот ни капли водки.

— Ты хочешь выпить?

— Одну рюмочку, только одну. Я слишком много пью.

Она с силой сжала мою руку. Ей подали ее рюмку водки. Мы сели в сани.

— Ехать быстро я не смогу, — сказал кучер. — Снег сейчас тает даже ночью.

На самом деле вот уже несколько дней — стояли последние дни февраля — была оттепель, снег превращался в грязное месиво, сосульки, свисавшие с крыш домов и балконов, оттаивая, крупными каплями падали на тротуары и головы прохожих.

— Поезжай как хочешь, — ответила ему Лена. — Нам спешить некуда.

И две лошади тронулись в путь ленивой рысцой. Время от времени кучер подгонял их, чтобы они бежали быстрее. Но аллюр не менялся. Они знали его голос, знали, что подгоняет он их только для проформы.

Мы медленно ехали по Светланской. Было так хорошо. Мы ехали под спокойный, тихий стук копыт лошадей. Торопиться нам было некуда, как говорила Лена.

Больше она не произнесла ни слова. Я тоже молчал. К чему были все эти

разговоры? Стояла теплая, влажная ночь, она приглушала, смягчала все нестройные звуки, будь то пьяные крики, девичьи рыдания, звуки аккордеона, даже выстрелы в порту. Ветер, налетевший с Тихого океана, разгонял тучи, в просветах неба показалась луна.

Я обнял Лену за плечи, она прижалась ко мне всем телом, как будто хотела, чтобы наши тела слились в одно. Все было хорошо, все было улажено, оговорено. Постепенно стихал стук копыт по мостовым. Мы уже ехали по улочкам, усыпанным грязным снегом. Вот-вот должен был показаться тупик, где жила Лена.

Вдруг Лена отбросила мою руку, ее движение было исполнено какой-то дикой силы, даже жестокости. Она вжалась в глубину саней. Ее всю трясло. От водки? Или ее отсутствия?

Я хотел было узнать, не стало ли ей плохо. Но я уверен, что она не слышала мой вопрос. Из глубины саней и так тихо, что, казалось, голос ее шел откуда-то издалека, она спросила меня:

— Ты, правда, меня любишь?

Я ответил ей, что да. Я не лгал, у меня не было никакой задней мысли. Я любил ее, по крайней мере, я верил в это всем своим сердцем. Что для прохожего было одно и то же. Она прижалась ко мне, прислонив щеку к моей щеке. Я чувствовал, как мне ласкает кожу мех ее дешевой шляпки.

Лошади постепенно замедляли ход. Грязный снег хлестал их по копытам. А я — меня охватило нетерпение. Девушка в таком отчаянии, но такая гордая, покинутая всеми. Она принадлежала мне, сильному властелину, который мог подарить ей счастье или причинить боль — на свое усмотрение. Ее тело, ее плоть — я должен был защитить ее, вылечить и овладеть ею.

— Ты уснул, что ли, черт тебя подери! — крикнул я кучеру.

Лена слегка приподняла голову едва заметным движением, как будто пробудилась от глубокого, тихого, безмятежного сна. Раздался сильный щелчок кнута, он подстегнул, поднял лошадей. От сильного толчка мы с Леной отпрянули друг от друга. Потом последовал еще один и еще, более сильный, а в воздухе все злее свистел кнут. Нас бросало то на плохие пружины, то на жесткий верх, так что ни о чем, кроме как удержать равновесие, мы больше думать не могли. Ну, вот последний ухаб. Кучер со всей силой потянул поводья на себя, останавливая сани перед жилищем Лены.

Я подхватил ее, одной рукой я придерживал ее голову, другую просунул под ее колени. Она была легкой, словно перышко. Прижимая ее к себе, я собирался выпрыгнуть из саней, бросить пачку денег вознице и нести ее на ру-

ках до самой комнаты.

Невероятно сильный удар локтем пришелся мне прямо в грудь. Я отпустил Лену. Пока я приходил в себя, она уже успела выскочить из саней. Я схватил ее за руку на первой из трех ступенек из прогнившего дерева, которые вели к крыльцу. Она сопротивлялась.

— Что, что тебе нужно?

И вот я обнаружил в тусклом свете фонаря у какой-то трущобы, что девушка, которая на все согласилась, которая столь щедро раздавала обещания, вдруг отказывалась признать это, она обманула меня и надругалась над этим счастьем. Я разозлился. Меня охватило такое бешенство, что я даже не пытался сдерживать себя. Оно было более чем справедливым.

— Что мне нужно от тебя? — выпалил я. — Переспать с тобой, все очень просто.

Я чувствовал, как ногти Лены впиваются мне в спину. Я отпустил ее. Она вскочила на вторую ступеньку и оттуда прокричала мне:

— Ни за что на свете! Никогда, никогда, никогда!

На моем лице она, должно быть, увидела, что мой гнев скрывал страдание, что на карту было поставлено не только неутоленное желание. Она спустилась на одну ступеньку вниз, ее лицо было совсем рядом. Холодным, спокойным тоном она произнесла:

— Хочешь знать почему? У меня постыдная болезнь. Вот почему.

Не знаю, что я мог чувствовать. Правда, я не знаю, и я думаю, что в тот момент я тем более не знал. Ничего, наверное. Просто потрясение.

— Ну что? Ты молчишь, не можешь пошевелиться, — вновь заговорила Лена все с тем же спокойствием. — Я больше не желанна тебе, прекрасный офицер?

И вдруг — ни голос, ни едва заметные изменения в выражении лица не успели выдать это — ее губы дернулись, раздвинулись и искривились в ужасной гримасе, дышащей ненавистью и злобой. Она наклонила голову, наши взгляды встретились, ее дыхание обожгло мне кожу, она шептала мне:

— Люби меня грешной... Люби меня, грешную...

А потом:

— Ты забыл. Так быстро? Или, может, я не такая уж грешная, на твой вкус, чтобы ты любил меня?

Она схватила меня за плечи, принялась трясти меня с силой, какая бывает у людей, охваченных жаром, или у сумасшедших, но ее голос ничуть не изменился:

— Это пустяки, дорогой мой, ангелочек мой. Я удовлетворю твое любопытство. Болезнь — не знаю, от кого я ее подцепила. От одного из этих жирных, толстых, отвратительных старых торговцев с длинной бородой, у которых миллионы в карманах и которые получают удовольствие от того, что причиняют тебе боль? Или от какого-нибудь иностранного офицеришки? Кое-кто из них очень бы хотел удовлетворить свою похоть со мной за неимением других толстых коров. Чего бы мне это стоило, скажи? И передать заразу первому встречному, скажи?

Дыхание ее участилось, голос становился все громче:

— Пойди и скажи в вашей ложе, этим маленьким свиньям в униформе, во время течки, скажи им, что мне не стыдно, и я ни о чем не жалею.

Голос поднимался, поднимался до крика:

— Я счастлива, я горжусь. Я ненавижу твоих друзей гораздо больше, чем других мужчин. Они молоды, сильны, у них есть деньги, с которыми они не знают, что делать. У них есть родина, семьи, которые ждут их, — в ее голосе слышались истеричные ноты. — А тебя — ты такой же, как они. А не потому, что ты говоришь по-русски и можешь сказать: «Люби меня грешной...»

Я споткнулся, покачнулся, чтобы прийти в себя, я вынужден был прислониться спиной к саням, стоявшим в нескольких шагах от крыльца. Хватило для этого одного толчка Лены.

Лошади захрапели. Зазвенели бубенцы. Лена попыталась добежать до двери. Натолкнулась на ночного сторожа. Он пробормотал:

— Ну-ну, голубка, сегодня что-то очень шумно.

Лена с возгласом счастья прижалась к старой военной шинели и спрятала лицо в седой бороде. Сторож гладил ее по голове, приговаривая:

— Идем, идем, голубка. Это пройдет, все проходит, и это пройдет.

Здесь я не могу не остановиться, не прервать на мгновение мою историю. Потому что я, кажется, слишком увлекся. Это даже уже не мелодрама. Это месиво из простых душ, каша, тесто, сделанное из разбитых сердец. Но еще раз: все действительно так и было.

Все.

Я видел его.

Луна, которая по прихоти облаков и легкого ветра с Тихого океана то освещала, то скрывала этот нищий квартал. Поломанное крыльцо... Тусклый фонарь... И эта маленькая тень рядом с инвалидом, грудь которого украшали медали и который участвовал в японской и турецкой кампаниях... Дед Мороз Лены.

Я его видел.

Я возвращаюсь к своему рассказу... Мне не оставалось ничего другого, как удалиться. К счастью, возница, которому не заплатили, все еще ждал. Но уйти вот так, оставить Лену, не сказав ей ни слова...

Я преодолел эту злосчастную лестницу, наклонился к Лене и прошептал ей на ухо что-то вроде: «Я вылечу тебя... Врач из эскадрильи, очень милый, замечательный... Увидимся завтра... Ты можешь рассчитывать на меня».

Она легонько подтолкнула старика, заставила его, пятясь, переступить порог, она прижималась всем телом к нему, повернувшись ко мне спиной. Они исчезли в темноте.

Тень произнесла напевным, наивным голосом:

— Простите, ваше благородие. Хорошего вечера, ваше благородие.

Я сел в сани. Не спрашивая меня ни о чем, извозчик привез меня в «Аквариум». Василий, как это часто с ним случалось, дышал свежим воздухом у входной двери.

Он смотрел на меня несколько дольше обычного, потом принес мне свои извинения. Появился один французский офицер. Один. Все было занято. Он никого не знал. И Василий отдал ему дальний столик Лены. Он не думал, что я еще вернусь сегодня вечером. Но он за меня не беспокоился. Все здесь были моими друзьями.

Французский офицер был из нашей эскадрильи. Лейтенант из отдела кадров. Все любили его за добродушие, сильный акцент выходца из Верхних Пиренеев, ругательства на местном диалекте и за его готовность всегда помочь.

Он не заметил, как я подошел к нему. Он сидел, обхватив руками голову, склоненную, словно от перелома, над нетронутым стаканом водки. Что же он делал в такой час в этом месте? Я тронул его за плечо. Он бросился мне на шею.

— Ну что, — спросил я у него, — плохое настроение?

— Плохое настроение — не смей меня. Хандра, да, самая настоящая хандра. Присаживайся, присаживайся. Сейчас ты все поймешь.

Он подвинул ко мне свой стакан.

— Ты знаешь Мартина и Антуана из бухгалтерии? Они по меньшей мере на три ранга ниже меня. И что? Ну так вот, они возвращаются во Францию, а я остаюсь здесь подыхать с тоски, без надежды хоть что-то узнать о своих ребятах.

— Но, — ответил я ему, — ведь это противоречит закону?

Он вздохнул, поправил усы. Нет, закон был на стороне Мартина и Антуана. Совет по реформе забраковал их. Кривоногие, косолапые, да и зрение у них, как у крота. Но это были славные малые. Чтобы мобилизоваться, они представили соответствующие документы. Проявили настойчивость. Им сказали, чтобы они перешли на службу во вспомогательные войска.

Заведующий кадрами полагал, что теперь я все понял. Нет, я не понял. Он смотрел на меня с беспокойством. Неужели я действительно так устал? Поскольку он пытался мне втолковать, что Мартин и Антуан были из добровольцев.

Перед моими глазами как будто вспыхнул огонь — вспышка, пламя. Ну и что, что добровольцы, ну и что, что демобилизовались... Я пришел в армию на год раньше положенного, я об этом ничего не знал. Белая вспышка, пламя, белая вспышка.

Об этом я помню, как если бы все это случилось вчера. Что касается остального, мне рассказали, Василию пришлось помогать французскому лейтенанту, вдвоем они подняли меня со стула и усадили в сани.

С этого момента все закрутилось, завертелось само собой, каким-то чудесным образом. Через два дня в Кобе отправлялся японский корабль. Мартин и Антуан уже были внесены в официальный список. Для размещения на нижней палубе. Я же получил право на каюту первого класса.

Я вернул свою сумку и отчет по расходам. Пожал руку Милану. Он очень обрадовался. Чешские войска приближались к Владивостоку. Им предстояло вскоре отправиться в путь, чтобы вернуться в освобожденную страну после пятисот лет рабства.

На вокзале — полковник Антонов. Кули, осыпанные рублями. Даже Фанг. В своем ликовании, в знак благодарности судьбе, я постарался никого не забыть.

День пролетел как одно мгновение. Наступил вечер, я нанес визит нашему казначею. У него не хватило денег, чтобы оплатить мои дорожные расходы.

Это были такие пустяки, вот аккредитивное коммерческое письмо для предоставления во всех консульствах Франции.

И напоследок эскадрилья заката для меня прощальный банкет. Здесь были все. Боб среди первых. Мы обнялись. Сильно. Хорошо. В одно мгновение все стало на свои места, обрело свою значимость. Бордо, колокола Бреста, баккара на борту «Президента Гранта», Америка между двумя океанами, падре с «Шермана».

И другие тоже. Никогда еще я не чувствовал, что мы так близки друг другу. Они завалили меня письмами, фотографиями, небольшими сувенирами. Вдруг я стал для них олицетворением родины, их родителей и любимых. А они воплощали для меня наше общее приключение.

Капитан посоветовал мне не играть в дороге в карты. Друзья — не слушать песни русалок с раскосыми глазами. Все, включая ординарцев, что-то мне подарили.

Повар приготовил пирог, украсив его моими инициалами. Лейтенант из Верхних Пиренеев прочел стихотворение собственного сочинения. Спать мы легли очень поздно. Уже перед тем как погрузиться в мир грез, я вспомнил, что совсем не думал о Лене.

Следующий день был столь же насыщен событиями, как и предыдущий.

Весь день я провел в музее мамонтов. Ставил подписи на квитанциях. Штемпели на поручениях для миссии. Ходил из одного кабинета в другой — обычный ритуал вежливости. В конце дня мне предстояло ввести в курс дела, если так можно выразиться, одного моего несчастного товарища, который не знал ни одного русского слова, чтобы он сделал все возможное вместо меня для отправки в Читу оружия для атамана Семенова.

Затем я упаковал ящики и принялся за подготовку ответной вечеринки, которую я устраивал для эскадрильи. Вечеринка в русском стиле. Где? Только в «Аквариуме».

Не все согласились прийти. Некоторые после вчерашнего банкета боялись излишней усталости. Другие — разгула и скандала. Боб боялся огорчить оставшуюся в одиночестве любовницу. Но все-таки нашлось несколько смелых. А еще я пригласил шотландца в его килте, канадца с револьвером и многих других. Их упрашивать не пришлось. В конце концов в большом зале нас собралось около сорока человек.

Великолепный стол. Об этом позаботился Василий. Белоснежная скатерть. Самая лучшая посуда и бокалы заведения. Начищенные до блеска серебряные приборы. Горы закусок, водка шести видов, шампанское лучшего урожая.

О деньгах я не беспокоился. Я потчевал всех по заранее оговоренной цене: мое двойное жалованье за последний месяц. Да и потом, у меня был открыт кредит во всех французских консульствах. Я бросился во все тяжкие очертя голову.

Этим праздником, самым настоящим, я благодарил судьбу, отдавал ей почести. А еще я хотел показать своим друзьям, какой властью я обладал в

этом месте, каким барином я мог быть. Игра стоила свеч.

Я ни минуты не сидел на одном месте. Я произносил тост за тостом, бил и заставлял других бить бокалы, я изводил, подбадривал, вызывал то аккордеониста, то балалаечника, искал танцовщиц, тянул их к столу, беспощадно заставлял их пить.

Во время этой круговерти появилась Лена. Шум, который производил наш стол, на какое-то мгновение привлек ее внимание. Даже если она и заметила меня, то виду не подавала. Она села на свое привычное место. И тогда я с удвоенным пылом принялся безумствовать. Во что бы то ни стало мне надо было забыть об ее присутствии. И мне это удалось.

Я уговорил майора Робинсона станцевать в килте, а канадца — расстрелять потолок над нашими головами. Я рассказывал непристойные истории девушкам, заставляя тем самым их громко смеяться.

Никто не слушал ее. Василий сел рядом с ней, положил руку ей на плечо. Они пили кавказское вино.

Я словно освободился, когда увидел, что она больше не одна. Я вновь принялся произносить тосты. Я взбаламутил весь оркестр. Скрипки плакали, стенали и стонали для всех нас по очереди. Гарсоны, официанты все убирали и убирали осколки разбитой вдребезги посуды.

Все когда-нибудь заканчивается. Кто-то пересел за соседний столик. Кто-то уснул прямо на влажной, пропитанной водкой скатерти. Других тошнило. А девушки тем временем обходили все ложи.

Но я, я держался, я должен был продержаться. Это был только мой праздник, так я прощался с людьми, ночевавшими на вокзале, с кули, с казаками полковника без ноздрей, с тифозными теплушками, с «Аквариумом». Наклонившись над раковиной, я пытался умыться холодной водой. Освеженный, причесанный, протрезвевший, я возвращался к тем, кто еще сидел за моим столиком, и прошел рядом с Леной.

На ее худеньком плечике лежала рука Василия, его тяжелая, огромная рука вышибалы. Лена должна была бы сломаться под ее весом. А она, казалось, даже не чувствовала ее. Он сумел сделать ее легкой. Я колебался. О, едва ли. Это было просто чувство приличия.

Но то же чувство и удержало меня. Что мне было делать рядом с ними? Я пошел своей дорогой. Вскоре они покинули заведение.

Когда Василий вернулся — вне всяких сомнений, он отвез Лену домой, — рядом со мной оставались только майор Робинсон, канадский капитан да одна из девушек рыдала у меня на груди. В зале — никого.

— Мы закрываемся, — тихо произнес Василий. — Уже утро.

Я резко оттолкнул толстенную хорошенькую девушку. Утро! Мой корабль!

Мне повезло, что я успел на него. Во Владивостоке у меня было немало бессонных ночей. Но только эта так оглушила меня. Я думал, что упаду, когда поднимался на мостик. Я думал только об одном: как добраться без посторонней помощи до моей каюты. Тут загудела сирена. Раздался грохот — это форштевень корабля крушил льды. Я ухватился за поручни. Я вспомнил Китайские моря, Индийский океан, Красное море и заходы в другие порты. Когда я очутился в своей каюте, я увидел из иллюминатора, как скрытая туманом цепочка крошечных домов, прижавшихся друг к другу, исчезала из вида, а вместе с ними исчезали и берега Азии. В этом городе несколькими днями ранее мне исполнился двадцать один год.

Зарзис, 6 июня 1975 г.

Издатель: *Александр Колесов*

Перевод с французского: *Наталья Сакун*

Оформление: *Людмила Харитонова*

Технический редактор: *Людмила Харитонова*

Корректоры: *Ирина Токарчук, Юлия Шеховцева*

Подписано в печать 09.11.2012.

Формат 60х70 У16. Усл.-печ.л. 6,99.

Печать офсетная. Бумага писчая.

Тираж 1000. Заказ №783.

Альманах «Рубеж»

690091, Владивосток, ул. Петра Великого, 4 rubezh@vladivostok.com

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>, e-mail: book@uralprint.ru

